

Римма Яковлевна Старовойтова

Воспоминания

Челябинск,
Цицеро
2009

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
С77

*Издано при финансовой поддержке
АНО «Скорая педагогическая помощь»
Директор И.Н. Кунаккильдина
8 90 90 90 55 00 (раб. тел.)
8-908-091-25-59*

Старовойтова (Потапова) Р.Я.

С77 Воспоминания. Записи конца 2002 — начала 2003
года. — Челябинск : Цицеро, 2009. — 136 с.

В подготовке издания принимали участие Ольга Старовойтова и Платон Борщевский.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-87857-131-9

© Старовойтова Р.Я., 2008.
© Борисов В.Г., предисловие, 2009.
© ЗАО «Цицеро», оформление серии, 2009.

Вместо предисловия

В один из декабрьских дней, когда снег, перемешанный с дождём, косо бил в глаза, я принёс домой небольшую книжечку с очаровательным женским лицом. «Воспоминания» Старовойтовой Риммы Яковлевны (в девичестве Потаповой), рождённой в Челябинске на Нагорной улице, сохранившейся на удивление до сих пор.

Знакомлюсь с содержанием: полувековая история города, родословная родителей, различные события в жизни своих братьев и сестёр. Переворачивая последнюю страницу, осознаю — раздору содержание по частям.

В последние годы появилось увлечение — поиск информации о городе в художественной, особенно в исторической и мемуарной литературе. Одно упоминание уже радовало, а здесь целый воз фактов.

Одно время они жили на улице Коммуны. В то время футбольные болельщики по этой улице, перейдя мостик через речку Челябинку, шли на стадион «Динамо» (ныне «Центральный»).

Однажды я остановился перед мостиком, оглядывая берега речки, обросшие кустарником-ивой, и позавидовал местным жителям, не предугадывая, что последние годы пройдут в доме, появившемся на месте дроболитейного завода (напротив дома Потаповых).

Наиболее близки мне страницы «Последний день жизни Гали», они написаны с большим материнским чувством, где между строк читается «не смогла сберечь».

Я был лично знаком с Галиной Васильевной в те времена, когда к ней не приходили мешками письма.

На одном из экономических форумов, где перед выступлением называли город и организацию, которую представляешь, ко мне подошла скромная женщина и сказала, что она родилась в Челябинске.

Вторая наша встреча состоялась в Екатеринбурге. В Уральском политехническом институте, куда меня пригласили на встречу с редакцией журнала «XX век». Мы долго ждали начала, появился организатор и сообщил, что редакции не будет, зато придёт женщина, которая заменит их всех. К моему удивлению, в аудитории появилась Галина Васильевна и с первых минут овладела аудиторией. Держала она нас в напряжении часа четыре, это точно.

Летом 1989 года челябинское общество «Мемориал» (председателем которого в то время был) проводило подготовку к траурной церемонии захоронения останков репрессированных на Золотой горе. Предложив на общественном совете пригласить А.Д. Сахарова, Г.В. Старовойтову, лётчика-космонавта Г.Т. Берегового и др., ощутил на себе удивлённые взгляды: слишком нереальная была идея, но всё же мы с Еленой Рохацевич решили написать приглашения. Вскоре пришли уведомления о получении приглашений, и в ход пошли телефонные звонки.

Первый звонок Галине Васильевне (в то время была депутатом Верховного Совета СССР), решил все она сразу же согласилась. Второй звонок — академику Сахарову, трубку взяла Елена Георгиевна, я ей в разговоре сообщил, что вот только что пригласил Старовойтову и услышал: «Галочка, друг нашей семьи», я уже знал: Сахаров будет в Челябинске.

Елена Георгиевна назначила мне время, и я позвонил, состоялось приглашение, но вдруг возникла пауза, после которой академик сказал: «Не обещаю. Плохо себя чувствую». И действительно, голос его упал, но потом он все же добавил: «Посмотрим».

На следующий день — телефонный разговор с Галиной Васильевной, и она твёрдо сказала: «Обещаю Андрея Дмитриевича привезти!»

В Свердловске состоялась межрегиональная встреча народных депутатов, и на ней должны были присутствовать А.Д. Сахаров и Г.В. Старовойтова.

Утром 9 сентября мне сказали, что они будут обязательно.

До начала митинга на Золотой горе оставалось совсем немного времени, когда с трибуны я увидел Галину Васильевну и с ней рядом мужчину, державшего букет цветов. Окликнув Галину Васильевну, помахал ей рукой. Они поднялись на трибуну, и она познакомила меня с Андреем Дмитриевичем. Я ощутил некрепкое пожатие руки и внимательный взгляд, в это время Галина Васильевна сказала: «Владимир Георгиевич, я сдержала своё слово».

Этот приезд известных депутатов и космонавта Берегового придал траурной церемонии более величественный вид и непоколебимую веру в торжество справедливости.

Вечером депутаты встречались с жителями города в Доме политического просвещения. Мы с Еленой Рохацевич купили два букета цветов, мне пришлось свой разделить на две части, отчего они были жидкими, и преподнести женщинам.

Потом Галина Васильевна приезжала агитировать за Б.Н. Ельцина. Во время встречи ей задали вопрос: «Правда, что вы родились в Челябинске?» — «Да, — ответила она, — Только меня увезли в Ленинград в возрасте двух лет».

Я знаю многих челябинцев, кто пристально следил за её деятельностью. Для всех нас 20 ноября 1998 года стало страшно-печальным днём. Очень жаль, что Светлана Сорокина, сделавшая документальный фильм о Галине Васильевне, не доехала до Челябинска.

Мы с Верой Степановной Колпаковой подали заявку в городскую администрацию на установление мемориальных досок Галине Васильевне и Василию Степановичу Старовойтовым. Нам обещали это сделать к дню рождения города, но впереди выборы...

Владимир Борисов,
краевед

Александра Ивановна Тимофеева (1870—1944), мамина мать — «я из-под Нижнява» (ее произношение).

В очередной голод в Поволжье от голода умерла ее мать. И отец **Тимофеев Иван**, с четырьмя детьми — Александрой, Антониной, Иваном и... не помню — переехал в Челябинск, в более хлебное место, как он считал. Помощь «голодающим Поволжья» оказывали многие русские люди: живой пример — семья Льва Толстого: он сам, дочери его, Софья Толстая — их бесплатные обеды на длинных деревянных столах, раздаваемые членами семьи Толстого и приготовляемые с их участием и полностью за их счет, пример семьи известен из литературных воспоминаний самого Толстого и других литераторов.

Самого Ивана я не помню, хотя, вероятно, встречала его в семьях его детей, особенно младшей дочери Антонины (бабушкиной сестры). Мы — ее внучатые племянники — называли ее «бабушка Тоня», по примеру «бабушки Александры», нашей истинной бабушки.

Баба Александра гордилась тем, что родилась в один год и месяц с В.И. Лениным — 2 апреля 1870 года и тоже на Волге. В речи ее всю жизнь пестрели волжские словечки, особенно «чай»: «Нина! Чай, скоро ребята из школы придут. Буду готовить *пашкет* с грибами...» (отварная картошка в мундирах, отварные сушеные грибы — преимущественно опята, лук — все чистится и рубится, складывается в гусят-

ницу, заливается мучной забельницей с растительным маслом и тушится в духовке). А у бабушки — в горячей натопленной плите — вот вам и «пашкет», а если перепадет еще по ложечке сметаны в тарелку, так и вовсе объедение!

Свой день рождения — 2 апреля — она называла каким-то именем и добавляла: «с гор ручьи» — т. е. весна, всемирный потоп. В это время уже снег в лесу протаял проталинами, и на них всюю цветут подснежники — особенные, ворсистые, душистые, крупные, прикрытые серой мягкой опушкой, на высоких мягких стеблях, светло-желтые с ярко-желтыми тычинками внутри цветка. Это похоже на пушистые тюльпаны, которые примерно в это же время цветут в казахстанских степях — ярко-красные и пестрые, желто-красные, но они гладкие и не душистые. А севернее Челябинска, в Пермской области, цветут пушистые («утепленные») и душистые подснежники — фиолетовые.

Южный Урал, Челябинск — лесостепь. С одной стороны у Челябинска — березовые леса, озера с водоплавающей дичью, с яркими душистыми разнообразными цветами, с другой — большой сосновый бор, в котором разрушающиеся «древние» Уральские горы с множеством каменоломен — чистый гранит крупными глыбами выломан, вывезен на стройки и щебенки, и образованный таким образом водоем заполнен чистой дождевой водой.

В этой части бора открыт парк культуры и отдыха в естественной красоте отголосков тайги. Южная же часть города переходит в ковыльную степь, где (сама я видела) седой ковыль стелется волнами и колышется как серебряное море, стрекочут кузнечики, высоко в небе парит жаворонок со своей неумолкаемой песней, и не забывают о нем соколы и ястребы. Рядом с ковылями растет душистая-предушистая полынь, каковой в ленинградской болотистой земле я отродясь не встречала.

А встретила ее в Волгограде на Мамаевом кургане, как нечто родное, забытое (в Ленинграде я живу уж более пятидесяти лет, точнее, пятьдесят четыре года); наломала веток, насушила, привезла в Питер и все радовалась встрече с ней.

Бабушка Александра соберет, бывало, «вагон» ребятишек с нашей улицы (**ул. Коммуны, д. 109**, напротив «дроболитейки»), сложит нехитрый скарб на двухколесную высокую тележку, туда же два пустых мешка и интересный чайник — самовар с трубой, и с шумом-гамом отправляемся в бор за сосновыми шишками. У бабушки на одной ноге сильное варикозное расширение вен (впоследствии перешедшее в трофическую язву), и она прихрамывает на одну ногу, но все мы весело шагаем в лес. Бабушка прерывающимся голосом поет песню об ивушке: «Ивушка, ивушка, зеленая была... Что же ты, ивушка, невесела стоишь?..» И это всякий раз. Видно, она ее любила. Мы, дети, набираем два мешка сосновых шишек для растопки самовара дома, бабушка их утрясает, перевязывает, взваливает на тележку, едем дальше. Бабушка находит светлый ручей, ключевой родничок, набирает воды в чайник-самовар, растапливает шишками его, заваривает травами, раскладывает вокруг «стола» шаньги картофельные, сметанные, с — творогом, баранки, просто хлеб или несдобный калач (кому что дали родители с собой) — ах, вкусно, сладко, ароматно в лесу, на родниковой водичке, с бабушкой, с друзьями-соседями с одной улицы... Бабушка знает много сказок, шуток-прибауток, уральских и еще волжских «из-под Нижнява»... С собой у нее всякие веревочки, бечевочки, мочалочки — для перевязывания букетов из лесных цветов, которые мы собираем по пути и несем домой. Вдоль родникового ручья растут желтые душистые купавки с резными листьями (под Ленинградом росли у меня на грядке на даче, наделяла ими соседей, но с более слабым ароматом, хотя и хороши).

Идем, идем по лесу — и вдруг просека — сплошь покрыта крупными яркими (ярко-голубыми) ароматными незабудками, ветер колыхает их — впечатление голубой волны... (под Ленинградом на даче росли у меня на грядках, но — мельче, бледнее и почти без аромата). Из цветов еще помню лесную саранку со съедобной луковицей. Цветок похож на тигристую лилию оранжевой расцветки в крапинку с большими темными тычинками, что повсеместно растет в садах Ленинграда, но саранка мельче, светло-лилового цвета в крапинку и с большими тычинками (аромат не помню). Бабушка останавливалась, ножом выкапывала луковицу и заставляла съесть: «Это тебе лесной царь послал, чтобы ты росла быстрее и крепче». Луковица чуть сладкая, сочная, не резкая. А я верила, что вырасту быстрее и крепче.

Прожив жизнь со всеми своими болячками и невзгодами, может быть, могу и поверить, что это ее соки мне помогли бороться со всеми перипетиями...

Дом был напитан доброжелательством, шутками, трудами. Как сейчас, помню большой круглый стол с откидными крыльями, сработанный моим дедом по линии отца, накрытый вязанной скатертью из приданого матери. На столе двухведерный самовар типа толстовского из Ясной Поляны, «поет», жаром пышет, в нем, я знаю, положены под крышку свежие яйца, из которых самовар сделает классические яйца всмятку. На самоваре расписной заварной чайник, на столе фарфоровые чашки с блюдцами, а на блюде домашняя выпечка — шаньги нескольких сортов. Самовар ставится утром и вечером. Это завтрак и ужин. Обед будет из «вареной» пицци, что бог пошлет. В какой-то раз — нет шанежек, а есть гороховый кисель с растительным маслом (возможно, пост). Я его не люблю, не хочу.

— Ты что не ешь? Губы надула.

— Не хочу...

— Не хочешь — не надо. Выходи из-за стола. Надула губы толще, брюхо будет тоньше.

Думаю, что это голос мамы. Вопрос исчерпан.

Бывало и так: «Идите спать. Нет на ужин ничего». Мы укладываемся. Я хнычу (тогда младшая в семье, дошкольница). Вдруг мама: «Ой, ребята, я вспомнила, у меня ведь горошница есть (гороховая каша)!» Я выползаю к столу, канючу — ну вот — горошница, горошница... Братья долго меня дразнили «горошницей».

Итак, круглый стол посередине комнаты, вокруг семья: мама, отец, бабушка, четверо детей — два старших брата, две младшие сестры. Здесь дают все наставления, здесь отчитываемся обо всех делах в школе. Здесь же в Пасху раздают куличи — каждому отдельный, празднично украшенный, и один общий, низкий, широкий для общей еды за столом. Помню: вкусно, красиво. К Пасхе мама готовила еще большую горку (как положено по христианскому обычаю) — на круглом подносе горкой земля, на нее мама заранее высаживала овес, к Пасхе он всю зеленел, и в зелень раскладывались крашеные вареные яйца — разноцветные, но красные полагось иметь обязательно!

Для бабушкиных подружек Юрий раскрашивал яйца, брав рисунки со старинных открыток — почти Фаберже — цветущая верба, бантики, фантики, голуби и незабудки... А еще в форме готовилась творожная пасха, с ванилином, вареная, сцеженная. Вкусно!

Хорошо помню, как праздновали Широкою Масленицу. Весна. Как правило, яркий солнечный день. Яркий белый снег. Но уже подтаивает, полозья после саней блестят — масляные. Весь город на санях, разряженные кони, кошовки накрыты расписными пологам, на дугах — ленты, цветы, бубенчики... Отец наш молод, ему еще радостно озоровать, улыбается, шалит, катит кошовку с резкими поворотами,

братья смеются, а я боюсь. И он таки разворачивает кошовку так, чтобы мы все вылетели в сугроб. Братья хохочут, а я канючу, глаза у отца тоже хохочут вместе с братьями... Дома нас ждет самовар, пироги и горы румяных блинов. Вся семья радостная, счастливая. И весь город в радостных улыбках — весна, солнце, все рады весне, Масленице, друг другу...

Бабушку Александру ее отец Иван сначала отдал гусей пасти (каждый член семьи как-то зарабатывал на хлеб, в семью). Рассказывая о том времени, бабушка обижалась: очень щипались, проклятые... Потом, лет с семи, она нянчила чужих детей. Потом, лет с пятнадцати, ее приняли на работу прачкой в тюремную больницу.

— Гнойные бинты я стирала, сушила, утюгом проглаживала и по-аптечному свертывала... — вспоминала она.

Там же, в тюрьме, работал извозчиком наш дед, **Федор Никитич Овчинников (около 1870—1924)**. Он умер в 1924 году от желтухи. Мне был один год. Кто и как сосватал их (бабушку и деда) — не могу знать. Было у них две девочки — Нина (моя мама) и Лизанька, которая умерла в младенческом возрасте.

На фотографии дедушка Федор — полный, добродушный, с окладистой седой бородой и с седой головой. Мама моя на него очень похожа. И говорила, что он очень любил своих внуков — Юрку, Женьку и меня, и успел еще меня покачать. Но я этого ничего не знаю. Разве что могу предполагать, что не в него ли барахлила моя печенка вплоть до удаления желчного пузыря? Он умер от желтухи при высокой температуре. (Гепатит?)

У стариков Овчинниковых был свой дом с мезонином: знаю, что в нем родилась я. Он был на высокой горе, на углу улицы **Нагорной**, которая спускалась круто к реке Миасс. После дождя там всегда к реке стекали бурные ручьи

со всяким сором, соломой из дворов и т.д. Мама разрешала нам дрыбаться в этих ручьях по пояс и выше, потому что в детстве ей этого очень хотелось, а бабушка не разрешала.

Где-то в этой части Челябинска жил и мой отец, **Яков Петрович Потапов (1.10.1898 — 27.05.1937)**, со своей матерью, **Варварой Александровной Потаповой**. Когда умер его отец, **Петр Матвеевич Потапов (1857—1911)**, 54 лет от роду, отцу моему было двенадцать лет, и он должен был принять свою мать, нашу бабушку Варю, на свое иждивение, так как семья Потаповых исходила из яицких казаков. Дед Петр был каким-то начфином, наш отец Яков Петрович как-то ему помогал в бухгалтерии, а баба Варя от крестьян отошла, а к казакам не пристала, жила крестьянской жизнью и домашним хозяйством. Была она невысокая, кругленькая, ладная, с прямым носом и ярко-голубыми глазами. Без большой грамотности, доброжелательная, гостеприимная. Где-то около 1920 года вышла вторично замуж за Виктора Ивановича Питиримова, вдовца из Вятки или ее окрестностей.

— Я *вьяцкий* плотник, мастер на все руки, приехал на Урал, на стройки... — говорил он сам о себе...

Помню его в домотканой косоворотке, в таких же штанах, в онучах, в лаптях, за поясом свой топор, которым он отменно махал на все стороны и умел действительно все! От бывшей его семьи с ним приехала дочка Дуся и сын Кузьма. Дуся имела свою семью и в новую семью деда как-то не входила. Красивая, кудрявая, как и дед Витя, как и многие «вятичи», которых мне приходилось впоследствии в жизни встречать. Кузя был несколько моложе нашего отца, они очень дружили, и Кузя нашего отца почитал и слушался. Дед Витя срубил новой семье дом на две половины — одну себе, бабе Варе и родившейся в 1924 году Томке (моей тетке); вторую — сыну Кузьме, где тот зажил с теткой Нюрой и четырьмя детьми.

Двор, сарай, огород были едины для двух семей. Была у них еще коза, собака, конь. Дед Витя срубил, как подлинный краснодеревщик, всю мебель себе, и Кузе, и нам обеденный и письменный столы, и всякие скамейки, табуретки и т. д.

Примерно в 1930 г. началось строительство ЧТЗ и ЧГРЭС¹. Дед участвовал в строительстве первых бараков для рабочих ЧТЗ, Планового поселка, родильного дома (тоже барак), где я в 1946 г. родила свою дочь Галину. Все это строительство велось в березовом лесу, куда баба Александра водила нас за грибами и груздями — белыми и черными в засол, опятами в засушку и маринад, подберезовиками, подосиновиками и за прочими лесными дарами: ягодами — костяникой, земляникой, лесной клубникой (удивительно сладкой и ароматной ягодой), которая хороша и в варенье, и сушеная, и в пирожках. Здесь же недалеко было и Первое озеро, где охотились отец и братья, где расставляли они свои самодельные чучела, а в лесочке (березовом) токовали глухари и было множество куропаток. Всю эту дичь я видела своими глазами и помню хорошо. И постоянно была она у нас на столе в вареном, жареном, запеченном вариантах. Кузьма дружил с нашим отцом, а после его смерти (май 1937 г.) дружили они с нашим старшим братом Юрием семьями, когда поженились. Вместе ходили на охоту, на рыбалку и т. д. Кузя погиб в конце жизни на охоте. Думаю, что после 60 лет. Они на охоте были вместе с Юрием, каждый в своей лодке. Заплывали куда-то в камыши и оттуда стреляли по летящей дичи. Оба отличные охотники. Вышло так, что Кузя к месту встречи не вернулся. От общества охотников искали его неделю, даже облетали участок на вертолете (все это после войны) — безрезультатно. Юрка не успокоился, искал один — и нашел. Лодка

¹ ЧТЗ — Челябинский тракторный завод; ЧГРЭС — Челябинская государственная районная электростанция.

с Кузей была среди камышей в заводи. Кузя скончался от сердечного приступа, задохнулся в лодке с ружьем в руках, хоронило его множество народа с ревом и хорошими воспоминаниями...

Возвращаюсь к старикам Овчинниковым. Городское словие — мещане. Служащие в тюрьме. Одна дочь. Свой дом. Своя полоска земли, на которой высевали хлеб, горох, картошку, бобы — не знаю что еще. Сеяли все это для семьи в зиму. Было это где-то возле Челябинска. После смерти Федора Никитича, и когда мама создавала уже свою семью, земля перешла к ней с отцом. И она рассказывала, как они с отцом на эту «полоску» ездили и чем занимались — посевами, прополкой, уборкой. Возле дома в городе был, как у всех, большой двор, амбар, сарай, огород и какая-то живность — куры, свинья, кони, коровы.

Мама, Нина Федоровна Овчинникова (8.01.1895 — 07.1975) окончила городскую гимназию. Потом курсы сельских учителей и работала в районе сельской учительницей. Во время мировой войны 1914—1918 гг. закончила курсы медсестер и всегда всей округе делала перевязки, примочки, оказывала посильную первую медицинскую помощь. Одним из преподавателей на этих курсах был местный «*фершал*» (как говорила бабушка) Иван Федорович, который по тем временам был «врач на все руки» — от глазного и до анального. Был очень влюблен в нашу мать, ухаживал и надеялся... Он был немного старше мамы и заходил за ней, чтобы идти на каток. Барышню тогда одну никуда не выпускали. Под его опекой шла на каток, и он приводил домой, сдавал родителям. Но вот на катке-то она с отцом и познакомилась. Плохо смотрел Иван Федорович! Видимо, у него решимости какой-то не хватало, а отец быстро матери сделал предложение (1917 г) и в 1919 году, в феврале, у нее уже родился Юрий.

Когда мама обзавелась семьей — отец, мать, **Юрий (1919—1991)**, через два года **Евгений (1921—1989)**, через два года **я (1923)**, через 9 лет **Рита (1932)** — скитались по чужим квартирам, а потом отец на семью получил большую трехкомнатную квартиру недалеко от работы. Последние семь-восемь лет своей жизни он был главным бухгалтером треста «Водоканал» (1930—1937). Это был большой трест, куда, кроме работников конторы, входили многочисленные «будочки» и «ас-обозники» — разветвленная сеть водопровода и очистная система по всему городу. Водопровод мало где был в домах, так же, как и канализация. Все это было разве что в новостройках жилья на ЧТЗ для иностранных специалистов, ЧГРЭС (тепловая электростанция), некоторых заводов. Частный сектор (не менее 80 % жилья, и мы в том числе) «удобства» имели на свежем воздухе — и это при тридцатиградусном морозе и длинной зиме; а воду получали на купленные в будках водопроводные марки (одна марка на два ведра воды). Лет с двенадцати я получала задание «натаскать воды» ежедневно на все хозяйство и на поливку огорода. В огороде стояла железная 250-литровая бочка (25 ведер), которая за день хорошо нагревалась, и вода хороша была для поливки, а я за это получала возможность в этой бочке искупаться (красота!). От речки мы жили далеко, ребята купаться туда бегали, а я изредка.

Часто летом под вечер — раздается гнусавая песня... м-м-м... и такой зловонный запах — ни в сказке сказать, ни пером описать; поскрипыванье телег, едет «ас-обоз». На деревянной телеге круглая деревянная бочка, похожая на деревянный бочонок лото, на ней на длинной палке железный черпак, весь в дерьме, впереди сидит живописный мужик в каком-нибудь армяке, в заячем треухе (среди лета), жует хлеб с огурцом. Едет не торопясь такой обоз, из 10—12 бочек, — это они на какой-нибудь улице вычистили деревянные

уборные по заказу, везут «добро» за город, «в назьмы» по дороге в Митрофановский совхоз, там уже несколько лет сливают это в кучи, стала уже гора длинная, заросшая шампиньонами (никто их не ест, не берет). Никогда не слыхала, чтобы «это» разливали в огород или в сад — представить невозможно. Только конский навоз на огуречные гряды, больше ничего и никуда и никогда! Там на Урале хорошие черноземы, знай копай!

Обоз проезжает, а запах еще долго висит в воздухе, все чертыхаются и отдуваются.

Полдвора у нас занято под огород, все лето зелень: огурцы, морковь, помидоры, петрушка, укроп, маленькие бахчевые темно-красные сахарные арбузы с черными семечками, маленькие бахчевые типа «колхозницы» дыни... а у туалета (далеко от дома в огороде) высоченная душистая конопля — отвлекает.

Двор от огорода отделяет амбар — там дрова, куры, два поросенка (их моем, скоблим, кормим), похрюкивают, глаза хитрющие... На день рождения Рите дед Витя и баба Варя подарили козу Катьку (от своей козы дочь). Эта дойная уже. Но еще молодая козочка. Меня посылали ее пасти на Алое Поле (мне 9—10 лет). А Катька хотела играть и прыгать. Встанет на задние лапы, рога — на меня, глаза у нее смеются, и прыгает на задних лапах с желанием поддать мне рогами под зад. На Алом Поле полно детей и подростков (играют в футбол). Им — смех и цирк, а мне — хоть плачь! Воткну кол с веревкой в землю, — Катька привязана, но начинает бегать по кругу — новый цирк! Какая радость — через час-два бабушка идет за козой — доить, а я обязательно удеру — ругайтесь потом, сколько хотите, а меня уже и след простыл.

Однажды в амбаре случился переполох среди кур — кудахтанье, ор — завелся в дровах хорек и задушил сразу двух кур. Поставили капкан, хорек попался и как вместе с

капканом стал высоко прыгать, чтобы вырваться — выше меня! Он с белку, красивая головка, ловкое тельце, поджарый, замечательный хвостик. Юрий изготовил из него чучело и поставил в окно между рамами на всеобщее обозрение. В другом окне уже стояло чучело белки, а на стене, на дереве распластал крылья большущий орел. У Юрия все это получалось с большим мастерством. К тому же он отлично писал маслом картины и копии с картин (например, «Украинская ночь», думаю, что Куинджи). Он окончил среднее художественное училище и до армии работал художником в мастерской по изготовлению вывесок на стекле, а как ушел в армию, сразу его забрали работать в клуб, отслужил вместо трех лет (срок для пограничников) полных восемь лет, все тянули под разными предлогами, да он и сам привык.

А когда мы еще учились, ко мне ходили девочки, и многим из них Юрка нравился — он большой шутник, юморист. А Женька был воображала и пренебрегал моими подружками, ну и ладно — не больно надо! К братьям ходили друзья, и я отлично догадываюсь из-за кого. Потом мы, девчонки, повзросли, и наши мальчишки повзросли (одноклассники), а Юрка и Женька и их друзья ушли в армию, в армии встретили 1941 год и пришли домой уже после войны (если кто пришел, конечно... Увы, многие не пришли...). До войны челябинские ребята уходили служить на Дальний Восток, в Уссурийский край (погранзастава Гродеково, например), а в 1940—41 гг. мои одноклассники все были направлены на запад, в Гродно, например. Это их немцы первыми поволокли ночью 22 июня. А хорошие были ребятки — наше поколение... Так просили писать им и ждать...

Юрию в армии была дана замечательная характеристика для поступления в цирковое училище, как замечательному юмористу, клоуну, способному к созданию юмористических постановок и слова: «работает в стиле Карандаша», он и

внешне на него походил. Но уже была семья, потом четверо детей, после армии пошел работать пожарником и доработал там до пенсии. Участвовал в тушении многих пожаров, в том числе с химическими осложнениями. Почему пошел в пожарники? Сутки дежурить, три дня выходные — на охоту. В Челябинске и под Челябинском богатые охотничьи угодья. Зимой — куропатки, зайцы, тетерева; весной и летом — водоплавающая дичь; зимой еще получал разрешение на отстрел горного козла. Форма и нижнее белье, и обувь — круглый год. Жена — уборщица; уборка с 6 до 9 часов утра (в РОНО, в исполкоме). Четверо детей: Костя (1946), Яша (1952), Миша, Оля. Из них два — инвалиды: у одного — болезнь Дауна, у другого — врожденный вывих ноги. Миша умер в двадцать девять лет. Косте (у которого больная нога) теперь пятьдесят пять лет. В этом году перенес инсульт. Растут (взрослые уже) две девочки. Юрий умер семидесяти двух лет, скоропостижно. Жена Капитолина (Капа) жива, живет с семьей дочери, Оли Потаповой. У Оли внук и внучка.

Юрий всю жизнь выступал в самодеятельности в клоунадах. Был очень любим публикой и пожарниками. Всю жизнь охотился очень успешно. Всю жизнь имел в доме охотничьих собак медалированных за чистоту породы. Всю жизнь по поручению и доверию охотников натаскивал собак в щенном возрасте на виды охоты и охраны и успешно и дорого их продавал. Как уже писала, отлично рисовал. Был очень музыкален, играл на струнных инструментах. В районе, где он жил (проспект Победы), имел прозвище «Буденный» за пышные усы. Выпить любил. Пьянел от пива или красного вина в малом количестве. Умер скоропостижно, сидя за столом после ужина.

Две небольшие истории, связанные с Юрой.

Внучка Юры Наташа (дочь Яши) в возрасте пяти лет (сейчас двадцать девять, двое детей) пристала:

— Деда, поймай мне сороку...

«Ну, — думает, — надо, внучка просит...» Поехал в лес на лыжах, взял булки, запасной ватник и мешок. На опушке леса, говорит, слышу — стрекочет молодая сорока (хорошо изображал, как она стрекочет). Подманил, бросил булки, накрыл ватником — и в мешок. Привез домой, поселил на балконе, назвал Сарой.

Постоянно с ней разговаривал, и она ему отвечала, стрекотала: та-та-та-та... Мужики-соседи просили: «Юрка, поговори с Сарой!» А она ему: та-та-та-та... Всех это забавляло. А однажды сосед сказал: «Надоела твоя Сара. Будит каждое утро в шесть часов утра» (а балконы рядом). Погоревал Юрка, привык уж к ней, собрал Сару, увез в лес и выпустил. Через несколько дней сосед говорит: «А чо это Сару не слышно?» — «Дак ты же сказал — надоела, я и увез ее в лес.» — «Ой, дурак ты, дурак, мы ее все любили, это я нарочно». А Наташка плакала, горевала. Но Юрка больше им Сару не привез.

У Юриной дочери Оли была любимая собака Кортик (конечно, назвали в честь известного популярного романа). Кортик был коричневый сеттер, большой, красивый. Ольга гордилась, гуляя с ним. Задавалась. Вечером, уже в темноте, Юрий выгуливал Кортика перед сном. Вдруг Кортик тащит в зубах какую-то грязную тряпку или рукавицу и дает Юрке. Тот приказывает: «Брось!» А Кортик скулит, сует Юре в руки находку. Юрка посмотрел, а это маленькая домашняя болоночка. Кто-то потерял, а Кортик нашел. Принесли домой, назвали Снежинкой, и стала она любимицей всей семьи. Кортик лежит, вытянув передние лапы, положив на них голову. А на лапах под его подбородком лежит Снежинка. Собакам дают сваренную овсяную кашу в одной большой миске. Кортик облизывается, но не подойдет, пока не налакается досыта Снежинка. И так

всегда. Потом семья садится за обед (четверо детей!), им перепадает колбаска. Снежинка — тут же к столу и вертится на задних лапках, пока ей не дадут кусочек. Мгновенно она перебрасывает кусок Кортику (ему колбаски не дадут!) и снова танцует для себя. Такая вот парочка. Кортик нянчит Снежинку, опекает и присматривает за ней. А ведь он самец, а не матка! Так проходит несколько лет. Снежинка спит у Оли в ногах на постели, а Кортик на своей подстилке у порога. Но вот Оля выходит замуж. Свадьба. Полно народу. Шум, гам. Олю увозят в дом к жениху. Пропала Снежинка. Нет нигде. Думают — сбежала в суматохе. Оказывается, забралась под кровать Оли и умерла от тоски. А как ее искал Кортик! Недоуменно, в удивлении подняв одно ухо... Его давно уже тоже нет.

Юрий ушел в армию в сентябре 1939-го года и вернулся осенью 1947 года. У меня уже была Галя. Позднее он два раза навещал нас в Ленинграде в 1949—50 годах. Евгений ушел в армию в сентябре 1940-го года. Провожал меня очень взволнованный в Ленинград в институт, в августе 1940 года. В отпуск в Челябинск приезжал единственный раз в 1947 году. Потом долго не объявлялся и не писал. Совсем от нас отвык, что было очень больно моей маме. Он стал офицером, окончил какое-то училище. Женился на некой Марии Прокофьевне. Детей у них не было, воспитывали племянницу Марии Прокофьевны, и с ними жила теща. Жили все они в Хабаровском крае. Умер в доме престарелых около 1990 года. Перед смертью прислал Юрию письмо, и Юрий ему отвечал. Я, в обиде за маму, ничего ему не писала. Я тоже от него начисто отвыкла.

Возвращаюсь к моим родителям.

В 20-е годы отец работал кем-то вроде бухгалтера-ревизора или сборщика налогов. Он безусловно знал татарский язык,

много рассказывал о татарских обычаях, угощениях, работал по татарским районам и часто брал маму с собой, когда еще не было детей. Мама рассказывала, как темной ночью, среди леса, на дороге их коня остановил высокий, весь в белом, татарин и увел отца с собой. Мама уже ждала Юру, очень волновалась, отца долго не приводили, и когда он вернулся, у мамы был поседевший висок. С отцом разобрались, и его отпустили, а какой был повод — не знаю. Это было в 1918 году. Юрий родился в феврале 1919 года. С тех пор отец стал иметь при себе наган. Кто-то донес, и ночью к ним пришли с обыском. Пока открывали двери, суета и т. д., мать опустила наган в ларь с мукой, и его не нашли. Но кто-то не успокоился, донес еще раз. Наган нашли, отцу дали два года за незаконное хранение оружия. Пока шло следствие (так, вероятно?), отец в тюрьме вел какие-то бухгалтерские дела для тюрьмы. Помню, как его вели в банк вооруженные люди с двух сторон. Он попросился зайти домой. Мать его накормила на ходу, охранники не препятствовали разговорам с семьей, а меня он покатал на карачках. Отец сказал, что его пошлют на поселение в колонию на два года. Потом мы два раза ходили в тюрьму к нему на свидание. Это было так: большущая какая-то комната, общая, без окон (так мне запомнилось), разделена металлической сеткой между заключенными и вольными. Мама с отцом разговаривают, а я в сетку сую свои пальцы, чтобы достать лицо отца. Папа делает вид, что кусает мои пальчики (мне что-нибудь около пяти лет), хорошо это помню, и мы смеемся все. Свидания проводятся общие, народу полно. Но я вижу только отца.

Вот мама осталась с нами тремя (Юра, Женя и я), А кормильца не будет два года. Мама решает с нами тремя ехать учительствовать в деревню (она сельская учительница). Помню — весна. Талая дорога, талый снег, серые шарики распутившейся вербы. Мы едем на двух подводах, на са-

нях. У меня на руках котенок серенький. Ему ехать скучно, и он выпрыгнул из саней в кусты — и был таков. Я вопила. Его искали, хотели поймать. Но — не дурак. Солнце, лес, запахи, влага, свобода! Так я и уехала неутешная.

Приехали в деревню поздно вечером, уже темно было. Не помню, чем нас кормили на ночь — наверное, молоком, творогом. И положили спать. А маму хозяйка спросила: «Чем же тебя угостить?» А мама говорит: «А угости ты меня редькой с квасом...» Удивлению хозяйки не было предела. Всем соседям рассказывала много крат: учителька-то заказала редьки с квасом... Деревня называлась Теренкуль, и озеро называлось Теренкуль. Думаю, что название татарское. Позднее я уверилась, что это Бродколмацкий район Челябинской области, то есть родные папины места, он из этого района.

Мама преподавала во втором и четвертом классах. Задаст четвертому классу задачку, пока они решают, бежит чего-нибудь задавать во второй класс. Такая схема в моей голове может быть и чистейшей выдумкой. А скорее всего, второй класс в первой смене, а четвертый — во второй. А какие вопросы ей жители задавали обо всем на свете!

Кем и чем учитель был на селе повсеместно — можно сделать выводы по тому благоговению, которое испытывали баба Юля² и дед Степан, с другой стороны, к Инне³ и ее матери Марии Федоровне. Живые наглядные примеры.

Жили мы в так называемой «малушке» — это малая изба на два окошечка, которую ставят и живут в ней, пока строят большую избу для постоянного проживания семьи. Это как бы временка, но приспособленная к уральским морозам, и даже

² Баба Юля и дед Степан — родители Василия, Ульяна Трофимовна и Степан Архипович Старовойтовы.

³ Инна — Инна Федоровна Старинская, жена Бориса Григорьевича Цихановича, друга детства Василия, и ее мать — тоже сельская учительница.

есть сени и крыльцо. Не помню, был ли во дворе колодец. А из озера все брали воду на все нужды. Вода чистая и очень холодная. То ли я ее помню зимнюю, то ли, может, озеро родниковое? В озере водился миллиард мормышей, невозможно было без них зачерпнуть воды. Мормыши вроде креветок, но помельче, бордовые и оранжевые таракашки такие лупоглазые и несуетливые. Воду обязательно процеживали. Позднее в литературе я встречала выражение «мормышки» — средство для ловли рыбы искусственное — «на мормышку поймал» — нечто родственное.

Помню, приезжал к нам туда однажды отец — мне кажется на одну ночь. Но, возможно, на короткую побывку. Помню, он приехал ночью и влез в окно. И привез нам пряников, сделанных в виде плавающих лебедей, облитых сухим белым сладким чем-то. Я долго играла ими, раньше чем обмусолить и разгрызть.

Юрий и Евгений там, в деревне, учились у мамы, и в городе потом пошли сразу в третий или четвертый класс. А меня деревенские девчонки таскали по избам, одевали, раздевали, якобы укладывали спать, кормили травой — калачиками и вороняжками. Я же была в городской одежде — особенно их привлекали мои ботиночки на шнурочках и капор, весь в лентах, прошвах и кружевах. Он был бархатный, зеленый, а кружева и рюши — белые. Есть фотография, где я с братьями и в капоре. Ну! Не говори, подруга!

И вот однажды мама ушла в школу, а бабушка ушла за водой, предварительно поставив самовар. И этот самовар зафырчал, зашипел, закипел, а дома я одна (мне лет пять-шесть). Я знаю, что надо снять трубу, а к самовару не подойти — все урчит, шипит, брызгает... Снимаю свой лифчик (это не то, что бюстгальтер, а то, что с пуговицами, куда надевают резинки, а к ним прицепляют чулки), пытаюсь прихватить трубу, но не справляюсь, надеваю капор, пальто

(нараспашку), бегу бегом по зимней деревенской улице в школу, к маме в класс. Влетаю, задыхаюсь, кричу: самовар вскипел! Мама тихо, спокойно говорит: входи, раздевайся, садись за парту, делай уроки, как все. Вот тебе бумага, карандаш, рисуй дом, дорогу, телегу... Весь класс хочет видеть, что я рисую. Как меня выпроваживают домой — не знаю. И еще абсолютно не помню, не знаю, что мы ели, как и когда. Совершенно не вижу, не знаю, не помню семью за столом — ни маму, ни братьев, ни себя. Не знаю, не помню семью в постелях — малушка не могла позволить столько спальных мест. Помню — кухня на два окна, у окон — лавка, на ней два ведра с водой, правее табуретка в углу, на ней самовар, а куда же идет труба от него? Куда-то в угол...

Дальше — мы у папы в колонии. Лето. На чем ехали — не помню. Лес. Родник. Бараки (несколько) на высоких сваях. Поля. Горох, гречка, морковь... Собаки. Много. Разных. Это охрана. Арестованных куда-то уводят на работу. Вечером возвращают. Уводят, когда мы еще спим. Не помню, чтобы отец с нами ночевал. Не помню, где, что, когда мы ели. Но, видимо, были сыты, а то бы помнила голод. Помню, как один из арестантов месил босыми ногами хлеб в большущей квашне металлической, подвешенной на цепях. Помню, как тесто было отлично вымешано, никогда такое количество хлеба руками или веселкой не промесить. Мы успевали носиться по лесам и полям, пили воду из родников, ребята набивали рубахи зеленым горохом и морковью, и вот — идем к баракам, где живем, а навстречу начальник колонии идет, похлестывает розгой по сапогу, как будто сердится, но никогда никому не сказал ни слова. Помню однажды пришла в колонию китаянка в башмачках-колодках (китайкам предписывались маленькие ножки, семенящая походка). Видно, шла она далеко и долго, ноги стерты в кровь, пальчики на ногах скрючены, изуродованы, соптели добела... Мама,

увидев это, ахнула, охнула, посадила китайку на крыльцо нашего барака, разула, принесла таз с теплой водой, обмыла ей ноги, протерла, еще раз промыла с марганцовкой, чем-то жирным смазала, забинтовала, надела на нее какую-то свою обувь (которая была велика для китайки); она что-то говорила и плакала. Мне казалось тогда и кажется теперь, что она понять не могла, — как, почему эта чужая русская женщина являет ей такое сочувствие и милосердие. Мама оставила ее у нас ночевать (наверное, испросив разрешения у начальства) и на другой день рано утром проводила ее до какого-то поворота дороги. Оказалось, что ей идти надо до какой-то другой колонии.

Эти черты соболезнования, сочувствия, помощи, милосердия я замечала у мамы много раз в жизни, хотя самой ей доставалось несладко. Мама работала всю жизнь (общий стаж сорок пять лет), плюс семья, огород, часто работала по совместительству (до войны это запросто разрешалось). Вспомним, что когда умер отец (май 1937), она осталась в семье шестая, никто еще не работал. Мне было четырнадцать лет, Ритке четыре года, Юрий и Евгений вскоре (через два-три года) ушли в армию. Никогда я не видела ее плачущей и мне она слезы лить не разрешала, даже на могиле у отца. «Будешь плакать, не буду брать с собой. Его не поднимешь, а тебе жить. А потому...»

Как, когда, на чем возвращались мы из колонии — не знаю.

Был НЭП, на каждом углу — торговля. Помню, карамелька стоила 1 копейку, а ириска — ½ копейки, т. е. грош.

Пришла пора мне готовиться к школе. Отец вернулся вместе с нами, работал, учился на курсах бухгалтеров или главных бухгалтеров. Долго я хранила его общую учебную тетрадь с лекциями, написанными его каллиграфическим по-

черком. До сих пор храню тетрадь — альбом моей молодой матери, где ей на память писали разные приятные вещи. Отцом написан ей в альбом известный романс «Белой акации гроздь душистые...». Откуда в Челябинске знали такой романс и многое-многое другое, чему место знать что-то в Москве, Питере?

В Челябинске радио появилось, думаю, в 1929 году. Радиокомитет, трансляция, концерты, литературные передачи. И сразу оно стало нашим университетом. Мы слышали Шаляпина, Собинова, Нежданову... Симфонические концерты, хор Пятницкого, а позднее — хор Свешникова (а капелла), Красноармейский ансамбль песни и пляски и многое, многое еще... Концерты-загадки и т. д.

Но откуда отец знал — Шаляпина, Собинова, Нежданову, Обухову? Он мне рассказывал о них, рассказывал про оперы «Русалка», «Руслан и Людмила»... Он шел на работу, я его провожала, и он рассказывал...

В Челябинске оперный театр появился после войны. Театр оперетты — перед войной, из самодеятельных артистов и танцоров; в войну Ленинград поделился с Челябинском своими солистами Певневым и Невской. Следовательно, бывали гастролы. Следовательно, «общество» обсуждало эти вопросы. Там был хороший сильный драматический театр, а во время войны к нам в Челябинск эвакуировался Малый театр. Хотя ходить в театр было некогда, работали самое малое по двенадцать часов ежедневно, без выходных и отпусков, а при пересменах по 16—18 часов. Кроме того, в Челябинске был Летний сад, где проходили все концерты и гастролы в Летнем театре еще с дореволюционных времен. Был еще так называемый Остров. Остров с садом, с эстрадой с танцплощадками, с оркестрами, с двумя длинными деревянными мостками на остров и на выход. На «Острове» ставились любительские спектакли, но учителям участвовать

в этих спектаклях не разрешалось. Поэтому мама там имела псевдоним, Н.Ф. Ольгина, и хранила несколько афишек на спектакли по А.Н. Островскому — «На всякого мудреца довольно простоты», «Волки и овцы», еще что-то, не помню. Позднее, ближе к 40-м годам, я играла Ларису в «Бесприданнице», но не на Острове, а в госпитале, который размещался в моей бывшей школе № 30 (по ул. Свердлова) и был сначала общим эвакогоспиталем а потом черепно-мозговым отделением... Тяжелая картина, не дай бог! Отработав смену — полсуток, мы еще шли дежурить в госпиталь, кому-то письмо написать, кого-то покормить, с кем-то поговорить... «Римма, я из Смоленской области, там немцы, не знаю, что с родными... Ты пиши мне, пожалуйста, а то один я на белом свете...». Таких разговоров было великое множество...

Война прошла через нас по живому, хотя мы жили в глубоком тылу.

К школе я никак не готовилась. Я умела читать, писать, рисовать, считать... Учиться в то время начинали с восьми лет. Мне исполнилось семь лет. Мама выдала мне метрику и сказала: «Это твой документ. Пойдешь в школу — знаешь, на углу?» — «Знаю». — «Найдешь кабинет директора и запишешься в подготовительный класс».

Пошла, записалась.

1 сентября пришла в школу, сказали — нечего ей делать в подготовишках, пусть идет в первый класс. До четвертого класса не умела писать заглавную букву «Д». Об этом никто не знал. А в тетради в слове «Диктант» мне эту букву три с гаком года писала соседка по парте, Женька Мартынова.

Училась я легко и с удовольствием. Мне все было интересно. Первая учительница, первый и второй класс — Евгения Матвеевна; третий и четвертый — Петр Васильевич.

Евгения Матвеевна расхваливала меня вечно и на весь класс. Мама на собрания не ходила, не имела времени. Петр

Васильевич, плохого слова не говоря, всучал мне в третьем классе листок с диктантом и говорил: «Потапова, сделай им диктант (классу); проверь, исправь ошибки, а оценки я поставлю сам». И уматывался. Я это все проделывала, утром приносила тетради и объясняла ошибки. Во, устроился учитель! Так было несколько раз. Не знаю, что об этом знали в учебной части.

Я застала бригадное обучение. В классе три бригады по десять человек. Вместе решаем задачи, пишем сочинения, отвечаем на вопросы. Оценки по одному ответу ставили всей бригаде. Конечно, я была бригадиром этой дурости. Тошно комментировать.

Дома меня класса до пятого звали Муськой. Не потому, что «Риммуся», а просто соседнюю девочку постарше меня звали Муся, я сказала, что я тоже Муся и на Римму не откликнулась. До самой армии братья звали меня Муськой.

Закончив успешно I ступень, я получила от соседнего мальчика, красивого брюнета с синими глазами, красивую открытку с надписью «Римме». Дождалась его у школы, треснула сумкой по башке, а он возьми да упади, да разбей нос свой в кровь. А в это время идет завуч: «Это что такое, Потапова? Получаешь дисциплину «уд» (оч. хор., хор., уд., неуд.)! А ведь я перешла во II ступень, должна идти в другую школу (5, 6, 7 класс НСШ). Мама говорит: «Что еще за «уд»?» — «Да напутали там... Надо было по обществуведению «уд», а по поведению «хор», а они наоборот»...

Пришла к директору новой школы. «Что это — у девочки дисциплина “уд”, мы мальчиков с такой дисциплиной не берем... Иди в 13-й изолятор»... А это — я знала — самый хулиганский изолятор, одни ширмачи, там девчонок-то, наверное, и вовсе не было. Вот куда меня «подарочек» Абраши Офмана повел... Мальчишка-то красавец, и скрипач, и крутой отличник... Через много лет во время войны встретила

его на заводе, нам уже было лет по двадцать, и вот два дурака — я и он, нет, чтоб вспомнить и похохотать — сделали вид, что сроду друг друга не видывали...

А 1 сентября вся школа во дворе построена, директриса держала речь, что вот, заранее предупреждаю, чтобы все учились хорошо, да чтобы дисциплина — не дай бог! — а то вот пришла тут одна девочка, дисциплина «уд». Ну-ка, Римма Потапова — три шага вперед! Смотри, вся школа, какая девица, 5-й класс, дисциплина «уд», — а куда девице деваться, хоть в петлю, стыдоба...

Ну, потом они нарадоваться не могли — какая девочка! Отличница, танцовка, вся в самодеятельности, вся воше! Класс полностью перешел из другой школы, одна я «чужая». А так как меня без конца ставили в пример — до чего была хороша! А Маруська Кравчун без конца болтала, и из класса ее выгоняли, и вот она подняла руку и попросилась: «Посадите меня к Римме Потаповой на исправление». И стала я ее исправлять, вплоть до рабфака, и на рабфак вместе пошли, и в Ленинград, в институт вместе приехали, и в Челябинск вместе уехали и т. д. Мы были не разлей вода. Сидели на первой парте, под носом у учителя. При этом я подсказывала всем напропалую и никогда не попала (я глазами подсказывала), а Маруська подсказывала «шепоток во весь роток» — ее выгоняли за подсказки, она на меня обижалась. Но ей я подсказывала тоже, так что долго она обижаться не могла. Мы были одинакового роста — Бобчинский и Добчинский, часто думали одинаково. Обе беспрекословные отличницы, обе безотцовщина. Мой отец умер в мае 1937 г., а в августе у нас начались аресты, у Маруси арестовали отца, и он исчез бесследно.

Как узнала она потом, в хрущевскую оттепель, он был «без права переписки», т. е. через неделю расстрелян. А потом был реабилитирован, восстановлен в партии. А сколько

гонений семья пережила за эти годы! Аресты в Челябинске были довольно массовыми. Мне было в 1937 году четырнадцать лет, и как страшно было каждый день слышать шепотки — того арестовали, того арестовали, казалось: боже мой! Сколько же врагов кругом! Однако и сомнений — не может быть! Такой хороший человек! Такой отменный скромный сосед! У отца был арестован начальник и заместитель отца. Мама говорила — хоть знаем могилу отца, а так загребли бы тоже...

Мама все понимала и очень критически относилась ко всей радиоагитации, хотя при нас не очень распространялась. А люди, видимо, в количество «врагов» не верили и как-то понемногу поддерживали семьи арестованных, хотя это было, бесспорно, опасно. Маруся не верила в виновность своего отца, и вся их семья не верила, что он может быть виноват. А ее мать горько запыла и умерла, не дождавшись его реабилитации.

Учились мы с Марусей действительно отлично. Хотели знать. Хотели учиться. Учебников в природе не было. С седьмого класса мы вели конспекты. Что-то немного нам задиктовывали. По многим предметам не хватало учителей, были «пустые» уроки, мы носились по всему городу в сыщики-разбойники. Потом появился волейбол. Я была хороша на подаче и с моим «охотничьим» глазомером ловко пускала мяч по сетке, а тогда от сетки мало кто умел брать мячи. Баскетбол стал массовым уже после войны. А мальчишки все сходили с ума по футболу и хоккею. Причем, в них играли единые команды: летом — футбол, зимой — хоккей. Жили мы недалеко от стадиона, все однокашники шли вечером на стадион: «Римка, пошли!». А я — нет, вроде не хочу. А мне просто не в чем. На стадион я стала ходить в 8–9 классах. Что-то приспособили — юбку, коньки-хоккейки брала напрокат, беретик на голове, уши голые,

мороз пощипывает весь вечер, а утром с ушей слезает кожа начисто, как с вареной картошки. Правда, не очень больно, терпимо. Я видела в Челябинске не один раз, как замерзали птицы на лету. Летит, летит, машет крыльями — хлоп! Упал комочек льда — воробей или ворона. Братья совали птицу в свое пальто, на грудь, за шиворот, отогревали, оживала! Зачирикала — под крышу ее, где у воробьев были гнездышки... Морозы в те времена были сильнее, чем теперь — потеплела планета...

В Питере перед войной бывали сильные туманы, город вообще был сырее — сказывалось печное нерегулярное отопление. Знаю, что первая блокадная зима 1941—42 гг. была ужасно, необычно морозная, что усугубляло жизнь в голодном нетопленном городе.

Мы с Марусей жили недалеко друг от друга (я дальше). Мы уславливались о времени, встречались и шли в школу, а потом на рабфак, пешком. Учились во вторую смену, с 15.00. Всю дорогу мы обязывали себя разговаривать только по-немецки (писала уже: с учителями — атас, учились сами). И вылезали, «шпрыхали» и переводили. Хорошо закончили восемь классов, без конца в самодеятельности. У меня женские роли, Мария — суфлер. Я несколько лет — солистка в танцах, на всяких конференциях, учительских, обкомовских и т. д. Маруська злилась — почему все Римма солистка? Пробовали других, но я была лучше и в обучении танцам, и исполнении. Я схватывала очень быстро, еще и учила других. Костюмы сооружала всем — все бабкины юбки и передники были при деле.

В старших классах нашим с Марусей коньком была еще и стереометрия. Почему этот, скорее мужской предмет, чем девичий, не усваивался парнями? То ли им терпенья не хватало, то ли просто интереса? Андрей Степанович задавал нам на дом всего две задачи или примера. Мы с Марусей

брали по одному — один ты решаешь, другой я. И успевали решить оба. Потом решениями обменивались. Приходили в школу заранее и объясняли классу, что к чему. Однажды Андрей Степанович заглянул в класс и увидел картину: мы с Марусей у доски объясняем, а класс сдувает. Он помолчал, а потом сказал: «Понятно».

Все сочинения, которые нам задавали, я писала в двух вариантах: одну тему Марии, другую себе. Успевала это же делать и при классных сочинениях. Например, накатаю «образ Челкаша» для Маруси и дам ей переписывать, а сама тем временем пишу тему «Пролетариат в произведениях М. Горького...», не помню точно. Домашние сочинения я проверяла у полкласса с точки зрения русского языка.

У Маруси почерк был кошмарный. Она сама его разобрать не могла: «Римма, посмотри, что у меня тут написано?» Она хорошо «волокла» математику, физику, черчение (мне и себе чертежи, а надписи чертежным шрифтом — это уж мое, конечно). У нас было полное доверие — кто кому нравился, от кого записки получали и т. д.

И вот закончили восьмой класс. А в это время в Челябинске по всем школам расклеили объявления — открывается рабфак при пединституте, программа средней школы, учебники те же, стипендия 75 руб. (отец, главный бухгалтер треста, получал в последнее время 715 руб. в месяц; мать, управделами отдела культуры в Горисполкоме — 450 руб.). Мы — четыре отличницы школы, все — безотцовщина, отправились к директору рабфака, чтобы убедиться в правде: что стипендия, что программа, а главное, что не заставят потом идти в пединститут — мы не хотели. Школа всполошилась — «цвет» испаряется... «Потапова, мы тебя в Москву отправляли... Как же это — бросить школу... и т. д.». После седьмого класса, когда умер мой отец, меня освободили от экзаменов (отличница!), а через две недели

выделили путевку, «Путешествие в Москву» на две недели — незабываемое путешествие! Я до того и в поезде-то сроду не бывала! Метро, Химки, Третьяковская галерея и т. д., и т. д. Кроме того, я получила толстенный одно-томник А.С. Пушкина, изданный к 100-летию со дня его смерти, с биографией, с комментариями и фотографиями, с портретами. Впервые показали нам Н.Н. Гончарову, отца и мать Пушкина. По тем временам это был для меня очень ценный подарок. Когда Галя вышла замуж (1968), и мы разъезжались на три дома, она попросила многие книги, в том числе этого Пушкина, энциклопедический словарь, ее социологические и этно-разные учебники. Я отдала ей все, что она просила. Ах, как давно это было!

И школа права — для них это была, конечно, потеря. Но мы от стипендии отказаться тоже не могли. Кроме того, на рабфаке нам преподавали вузовские преподаватели, и шли сдвоенные, как в институте, уроки. По-взрослому. Почему рабфаки в конце 30-х — начале 40-х годов? Рабфаки после революции — понятно. А здесь? Дело в том, что в сельских школах повсеместно учили детей выпускники этих же школ. Окончил семь классов — иди, учи первоклашек, если окончил школу успешно, без всякого учительского образования. А к 40-м годам во всех областных центрах построили пединституты. А как туда, в вуз, принимать сельских учителей с семилеткой? Выход был — рабфак. Вы бы знали, как хотели учителя учиться, знать! Были ребята и после армии. И сколько вопросов они задавали нашим учителям — и по физике, и по географии, и про мираж и т. д., и т. д. Причем вопросов, возникших у них из жизни, из практики.

Нам, школярам, стыдно было кое-чего не знать, и мы постоянно им что-то разъясняли, рассказывали, а заодно и себе. Мы за два года рабфака (второй и третий курс) узнали, наверное, больше, чем за все предыдущие восемь лет.

И вот мы с Марией отправились в Ленинград. Я вначале сомневалась. Братья — в армии, работает одна мама. Их тут остается трое: мама, бабушка и Ритка — на одну зарплату. Мой расчет — только на стипендию. Но мать сказала: «Отец завещал тебя обязательно учить...»

После смерти отца и ухода братьев в армию случилась с нами целая история. Пришли из Водоканал-треста и сказали, что им квартира нужна для нового главбуха, а нам дадут равноценную за городом, на подстанции. Мать ходила в обком — доказывала: два сына в армии; писала потом в Верховный Совет СССР — что же семью выселяют? Плевалась потом, что только деньги на марки истратила, а правды нет нигде. И мы не возражали. Но 31 августа (видимо, 1939 г.) — последний возможный день выселения, а дальше, с 1 сентября, осень — выселять уже нельзя, подогнали к дому грузовик, собрали наш скарб и вывезли нас в барак, за город, в район областной больницы: мама, бабушка, я и Ритка. Окна вровень с землей, барак засыпной, но никогда не засыпался, углы промерзали насквозь, в умывальнике вода застывала льдом. Утром, чтобы умыться, я пробивала лед молотком, закалялась... Просыпаешься утром, ноги в ледяные валенки, умываешься ледяной водой. Бабушка ставит самовар, что — ели не помню. Кур держали в подполе, и для них там горел свет. Куры неслись и «растились». Приехал с нами и белоснежный пушистый сибирский кот Маркиз, обслуживал всю округу. «Удобства», полгода замерзающие льдом, на свежем воздухе, .

В магазинах — пусто. На полках стоит синька (в продовольственном магазине) и кофе желудевый. Его мы не пили никогда. Бабушка делала чай из сушеной морковки. Магазины открывались в девять утра, но с шести-семи люди занимали очередь, «на всякий случай», в том числе и бабушка. Иногда давали по килограмму крупы. «Геркулес»

в пачках бабушка брала всегда. К началу войны у нее был запас — 3 кг геркулеса и мешок сухарей на печке.

Новый наш дом состоял из двух смежных комнат, метров по десять. В одной из них была русская печь с плитой, в другую выходила от печки теплая стенка. Все это белили известью, жили у нас кое-какие цветы, было у меня белое покрывало на кровати (с подзором из маминого приданого), был большой деревянный сундук — по виду, по размеру как мой теперешний диван. В нем были шубы, пальто, постельное белье; на нем перина, на перине спала бабушка. У Ритки деревянная трехстенная кровать с периной, с шишечками; у мамы двуспальная чугунная кровать с периной с блестящими шишечками, темным покрывалом. Был двух-тумбовый письменный стол с множеством ящичков, сработанный дедом Витей, плотником и краснодеревщиком. На этом столе стояло зеркало «в полтела» — примерно 40 × 60 см.

Была этажерка для книг, полки для посуды (на кухне) и стол со шкафчиком для продуктов...

Мама до войны работала старшим кассиром в театре оперетты со множеством распределителей билетов. Я там, в театре, пропадала, и на всех спектаклях, и на репетициях и т. д. Она мне оставляла место в проходе: третий ряд, седьмое место. И когда она освобождалась, мы вместе уходили домой. Там я получила возможность разучивать танцы и даже целые сцены с собственным участием и фантазией, потому учила всему своих девчонок, и мы все старшие классы танцевали черт знает где — везде, где есть публика и сцена, в том числе и на Острове, и на рабфаке, и в пединституте. Поклонников был вагон, но не потому что я что-то особенное а потому что я была на видном месте, да еще бедная, и скромная, и башковитая, и языкатая...

— Римма, мне надо с тобой поговорить...

— Во-первых, я далеко живу..

— Зато подольше побуду с тобой...

— Зато получишь коромыслом по шее, кавалер нашелся...

Во время войны, сразу, мама ушла в военизированную охрану номерного завода — рабочая карточка, зарплата, близко к дому; на санках удавалось притащить пару ведер угля — печку топить. В ночную смену она шла в большущем, длиннущем, еще дедушкином овчинном тулупе с высоко поднятым меховым воротником. Получала на заводе винтовку, боеприпасы и двенадцать часов охраняла предприятие. Иногда их водили на стрельбище, учили стрелять. Мне, 18-летней дурище, было это ужасно смешно, а ведь матери в 1941 году было всего сорок пять лет. Позднее, в мои сорок пять, я себя отнюдь старухой не считала. Наоборот, была очень веселая, глава любой компании и на работе, и на вечеринках. Бабушкой я стала в сорок шесть лет — и вздрогнула: уже бабушка! А ведь это какое звание!..

В 1941 году — этап жизни — мне исполнилось восемнадцать лет. Жизнь нашего поколения, конечно, делится по всем статьям на «до войны» и «после войны».

Мама овдовела в сорок два года, и как изменилась вся ее жизнь...

Конечно, мы жили, как и все, скромно. В доме никогда не было сборов, пьяных, вообще спиртного. Отец не пил и не курил — не разрешало здоровье. Он родился в деревне, недоношенный, семимесячный. Его там «дозревали», кутали в вату. Потом рос здоровым деревенским парнем, казачонком. Знал все правила казацких игр и песен. Его отец умер, когда ему было двенадцать лет, и он принял на иждивение свою мать, нашу бабушку Варю. К сожалению, не знаю никаких подробностей их жизни. Но с двенадцати лет отец жил самостоятельно, а в девятнадцать женился, и пошли друг за другом дети, мы: Юрка, Женька, Муська и Ритка... Между

Муськой и Риткой были еще мальчишки-двойняшки. Родились шестимесячные, мертвые.

Что касается домашних сборов, то в дни рождения пеклись пироги — много и разные, ставился известный двухведерный самовар, рассаживалась вся семья, пелись песни. Из гостей бывала моя крестная мать — баба Груша (Агриппина), бабушкина подруга. Баба Варя бывала не всегда: так как дед Витя был выпивоха, их обычно приглашали отдельно. Отец всегда с нами пел песни — русские народные и какие-нибудь казачьи. У него был отличный музыкальный слух и спокойный легкий тенорок. Правда, пел он не за столом, а лежа на кушетке, как бы отдыхая. Может быть, чувствовал свое сердечко? Об этом в доме никогда не говорилось.

В мае, когда он умер (1937 г.), ему было тридцать восемь лет, шел тридцать девятый. Он родился 1 октября 1898 г. Он играл на всех струнных музыкальных инструментах. Сам отлично играл на гитаре. Юрку, Женьку и многих их товарищей (соседей с улицы) научил играть на мандолине, а меня на балалайке и немного на гитаре («Вянет, пропадет молодость моя...»). Ребята перед армией после учебы или работы собирались на улице стайками и хорошо играли на мандолинах. Хорошо помню «Турецкий марш», «Марш Черномора» («Руслан и Людмила») и еще что-то, чему научил их отец. Учил и нотам. Мандолины заимели все друзья. Им это нравилось не меньше футбола или хоккея. Отец мечтал создать семейный ансамбль: он — гитара, братья — мандолины, я — балалайка — красотища! Отец никогда не повышал голоса, и вообще всем в семье управляла мама. У отца ведь за плечами двухклассная церковно-приходская школа, а у мамы — гимназия! Да еще курсы всякие. Да еще городская. Да еще старше его на три с лишним года... Когда в седьмом классе я не сразу поняла по алгебре, чему

равняется $a + b$ и спросила его, он тихо так сказал: «Спроси лучше маму...»

Нас никогда не наказывали и, уж конечно, не били. Один только раз, и то при мне, отец стегал Женьку кнутом как следует... Женьке было тринадцать лет, стал пропускать школу, связался с компанией, ходили ловить птичек (вместо школы) — кенарей, снегирей и продавать на барахолке. Потом не явился ночевать, — оказалось, компания сбегает из дома в неизвестном направлении. Не знаю, как узнали родители, но отец его выловил на вокзале при посадке в поезд направлением на Уфалей (я и сейчас не знаю где этот Уфалей). Отец его привез на извозчике домой, в пролетке его усадили, беседовали, совестили... Нас всех из комнаты выставили. Помню голос отца: «К кому это ты отправился в Уфалей? У тебя там что — тетя родная? Чем ты подумал?» и т. д. В общем, Женька каялся, просил прощения и обещал, что такое никогда не повторится... А через три дня сбежал снова. Отец выловил его на вокзале, привез домой и стал стегать... Мама заступалась: «Яша, хватит!» Яша был вне себя (понятно!). И мама подошла к Женьке с примерно годовалой Риткой на руках...

Чего-то стоило это все папиному сердечку...

Женька отличался и потом. То он написал полный графин в пионерской комнате, то он попросился с урока в уборную, зашел в девичий туалет, спрятался там в кабинке, а когда девчонки в перемену задрали подолы, стянули трусы, он выявился — визг, паника! А ему — смех. А когда исключили из школы за хулиганство, успел закончить восемь классов и пошел работать на завод. Работал до армии. В школе успел еще выбросить с четвертого или пятого этажа горшки с цветами, чуть не попал горшком в завуча, опять мать объяснялась. В драках участвовал не один раз. Однажды была у них там поножовщина. Влетело ему. Саданули ножом за

ухом. Была рана. Все были арестованы, два месяца шло следствие. Помню широкий шрам за ухом. Он был освобожден (так как досталось ему, а не от него), но мама продежурила у тюрьмы два месяца — то свидание, то передача... Это уже без отца.

Я тоже отличилась на маминых нервах. И не раз. Когда мне было 16—17 лет, бабушка мне что-то указывала, а я ей сказала: «Без сопливых дело обойдется!» Мама молча посмотрела на меня, и сказала одно только слово: «Скотина!» Почти шестьдесят лет прошло с тех пор, а и сейчас мне стыдно... Прости меня, мама!

А другой раз — это когда я убегом ушла к Василию, не попрощавшись, никому ничего не сказав... Мама пришла к заводу, встретила меня и спросила: «Ну, замуж, что ли, вышла?» Я молча кивнула. «Ну так приди, возьми чего-нибудь, надо же...».

Я пошла к директору, попросила машину, взяла у мамы перину, две подушки, тумбочку под цветы, плетеную из ивы этажерку под книги. Не помню, чтобы я брала какое-нибудь белье (наверное, нет!) или посуду. Не могла я у матери из последнего брать! Завод подарил два метра уплотненной марли, из чего я промережила занавески на окно, и два метра маскировочной марли, зеленой с черными разводами — занавеска на полку с одеждой. Сашку⁴ и Володьку мы вытурили (Сашка женился, а Володька ушел к товарищу).

Много лет спустя мама сказала: «Никак я этого не ожидала от тебя, Римма...». Прости меня, мама...

Позднее тяжело меня провожала в Ленинград моя мама. А я радовалась, что еду в Ленинград, с двухлетней Галей, с девятимесячным пупом. И нелегко же мне пришлось в моей

⁴ Александр Авдеев и Владимир Михайлов — вместе с Василием Старовойтовым жили в одной комнате в общежитии (ЧТЗ, 7-й участок).

самостоятельной жизни... Никогда я не жаловалась и не стонала, но было мне нелегко. И маме было без нас нелегко.

Возвращаюсь к отцу. Отец его отца, папин дед, а мой прадед, Матвей, жил на полустанке Бектыш. Поэтому мы, его внуки, звали его не дед Матвей, а дед Бектыш. Был он невысокий, абсолютно седой, с заветренным лицом, никакой жирилки, ходок, охотник, казачий есаул. Полустанок Бектыш — я думаю, это вроде Буранного полустанка в книге Ч. Айтматова «И дольше века длится день...». У деда Бектыша было двенадцать детей, из них две Анны и два Петра. Один Петр — отец нашего отца, другой Петр (хорошо его помню) был фармацевт, работал в аптеке, в Челябинске, заведующим или провизором. Помню, что он делал лекарства. Когда в Челябинске начались аресты, он покончил с собой, отравился, оставив записку: «В моей смерти прошу никого не винить...» Не хотел ли он быть невинно осужденным, или были другие причины, — не знаю. И смерть, и похороны прошли без всяких «ахов». Работники аптеки недоумевали и сожалели как о хорошем человеке. Была у него взрослая дочь Галина Петровна Потапова, которая окончила Челябинский техникум архитектуры, работала архитектором, мать ее была медсестрой. После смерти отца Галя уехала жить в Ленинград, жила здесь всю блокаду. Юрий приезжал к нам в Ленинград, ее отыскал и с ней встречался. У нее здесь не было никого. У Юрия она спрашивала: «Где Римма, как Римма?» — но у нас была очень большая разница в возрасте (она, вероятно, ровесница моему отцу), я ее не помнила по Челябинску, а еще не хотела быть «бедной родственницей» благополучному и давно устроенному человеку. А, может быть, я ей была нужнее, чем она мне? Ну, не состоялось...

Помню похороны деда Бектыша. Он приехал к сыну Петру, поночевал, утром надел охотничьи сапоги (кожаные, выше колен, с металлическими подковками на каблуках),

взял ружье, патронташ, ягдташ (сумка для убитой дичи), взял с собой собаку и ушел на охоту. Вернулся после вечерней зорьки, принес какую-то дичь, сказал невестке: «Что-то я так устал сегодня... Не буду есть, пойду отдыхать...». Лег на печку и уснул. Уснул как бы до утра, а на самом деле навсегда... Ему было сто четыре года. До девяноста четырех лет он помнил свой возраст, а остальные десять лет на вопрос о возрасте говорил: «Девяносто четыре».

Хоронили его мы с папой. Гроб стоял на телеге, я сидела возле гроба, отец мой сидел с вожжами, и мы ехали. Бектыш как будто спал, только ветер шевелил седые волосы. Могилу, кладбище абсолютно не помню.

Казачий есаул Матвей Потапов ни за что не брался зарезать курицу. Жена говорила: «Зарежь двух кур. — мне обед надо варить (двенадцать детей!)». «Которых тебе?» — «Вон ту, рыженькую, вон ту, пестренькую...» Дед брал ружье, выходил на крыльцо и отстреливал приговоренных.

Когда рождались дети, шли крестить к попу: «Вот мальчика хотим Иваном окрестить». — «А в святцах сегодня Петр...» — «Да, батюшка, у нас Петр уже есть». — «А в святцах сегодня Петр...» Так и получилось два Петра и две Анны.

Среди друзей мамы и отца еще дореволюционные Федоровы, Ростовы, Юпины и другие... Наши новые соседи по бараку — раскулаченные и сосланные семьи из Мордовии. Мордовские матери ругали своих ребятишек: «чертова мордва и сукова мордва», а через стенку все слышно. Красивые, широкоплечие, высокие, как бы лесные мужики, сплошь неграмотные, тут же попали в армию и на фронт. Ни один ни одного письма не прислал. Остались бабы с детьми — у каждой по два, по три... Пошли эти женщины работать грузчицами на элеватор. Удавалось им как-то приносить для ребят горсточку круп, варили каши, жили. Вот вытопили

печки, сосед Петька садится на горячую плиту, на руки берет табуретку, воображает, что он играет на гармошке: «А, тыр-дыр-кува-кува-кува...», долго, пока мать подзатыльник не даст, когда иссякнет ее терпенье. Все мордовские дети очень быстро научились говорить по-русски, наши дети (у нас Ритка) — по-мордовски... «Мадерька» — картошка. А Ритка знает много до сих пор.

«Тетя Нина! Какой у тебя вонь хороший...» — это мама употребила одеколон, любила им протереться... «Нина Федоровна, — обращается соседка, — я сегодня в ночь на работу иду, нельзя ли пустить Маркизика ко мне на ночь, вроде как мыши стали скрестись...» — «Бери».

Утром, как только открыли к ней дверь, «домовник» выскочил оттуда, хвост трубой, рожа довольная, вся цветная, желтая, облизывается... Это Матрена получила месячный паек, вместо мяса яичный порошок, засыпала в стеклянную банку 0,7 л, завязала бумажкой, «харя» все разгреб и сожрал...

У другой соседки беда: получила получку пятерками, там отпечатан летчик. Парень один был дома, лет восьми, взял ножницы, вырезал всех летчиков, — чем жить? Мама пошла с ней хлопотать в банк, через какой-то срок вернули ей зарплату...

Я пошла работать на фармзавод в бинторезный цех. Мы делали индивидуальные перевязочные пакеты для бойцов. Продукцию принимала военная приемка.

Сначала вернемся в Ленинград 1940 года. Приехали числа двадцатого августа. У нас разные факультеты, разные общежития. У Марии на Фонтанке, рядом с большущим госпиталем (недалеко от больницы на Фонтанке, 148). У меня — на Перевозной улице. Там два общежития, ЛИИВТ⁵

⁵ ЛИИВТ — в то время Ленинградский институт инженеров водного транспорта; ЛИИЖТ — Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

и ЛИИЖТ. Сам ЛИИВТ в порту. Напротив нас — Клуб моряков с хорошей столовой. От общежития до порта едем на трамвае от остановки «Калинкин мост» или «Площадь Репина».

Утром и вечером я брала кипяток из титана (в подвале общежития), ела с какой-нибудь колбасиной, плюс какое-нибудь печенье. В обед, перед занятиями, в столовой каждый день брала щи капустные и кашу пшеничную. До занятий мы еще успевали «пошмонаться» по магазинам — посмотреть. После челябинской синьки и кофе желудевого здесь было все, — а еще мороженое и на каждом углу горячие пирожки. Иногда мы что-нибудь перехватывали, но это «что-то» было запретное, мы знали, что НЕЛЬЗЯ!

В институте меня везде навывирали — от первых курсов. В институте первокурсникам давали на выходной какие-то путевки в музеи, везде ходила, но не помню, куда. Все было давно! Знаю, что в Петергофе не была. В Петергофе мы всей семьей были 9 июля 1950 года, в Олин день рождения (два года ей). Еще первые фонтаны — «Самсон» в частности, дворцы были разрушены. Открытие Петергофа для ленинградцев — трудно представить! Но мы — там.

Итак, приехала учиться в Ленинград, в 1940 году. В общежитии нас в комнате — пять человек. В углу под кроватью у Женьки из Пензы (мы все первокурсники) крысой проглочан угол, большая дыра. Мы все боимся, но ночью она запрыгнула на меня — в противоположный угол. Я с силой ее стряхнула, она обо что-то ударилась и больше не вылезала, а из норы воняло. Плохой признак!

2 октября 1940 года вышло два Указа:

1) Об образовании ремесленных и технических училищ с полным содержанием и обмундированием;

2) О плате за учебу в старших классах средних учебных заведений и вузах всей страны.

О первом Указе говорили весь день, и не один день — как это замечательно и необходимо. Он действовал не один год и поставлял рабочий класс на предприятия. Второй Указ прочли разок-другой, и мы отправились на занятия в институт. Первокурсники, все, кроме ленинградцев, живущих в семьях, как в воду опущенные. Для большинства это — крах, атас. Для меня и Марии это тоже конец света, нереальность — прощай все, что могло бы быть, да не стало...

Пробовали мы поработать. Да кому мы нужны? Была разовая работа — мыть окна в институте, три рубля за высокое окно. Дали по одному окну, а желающих и без Указа... Пробовали на почте разносить телеграммы — а города мы не знали, кроме дороги до трамвая... Пришел корабль «Эстония» (1940 г.), пошли мы грузить жмыхи, нажрались досыта, а Маруську угораздил черт потерять паспорт (Это на иностранном корабле!). Измучились мы, искавши, не нашли, с Маруськи — штраф, насилу получила паспорт и уехала домой. Я еще прожирала стипендию недели три, оправдывалась в РК ВЛКСМ, не соглашалась на уговоры и тоже уехала. Через год братья придут из армии и поеду, дескать, поближе, в Свердловск, а пока поработаю...

Через год была совсем другая беда.

Приехала в ноябре — конец года, везде сокращение, а таких школяров, как я...

И пошли мы работать на завод, трое вместе — я, Маруся и ее старшая сестра Анна — артистка ТЮЗа. Я — калькулятором, благо я на счетах щелкала: хочешь вверх, хочешь вниз, хочешь — наоборот. Я умела также и на арифмометре крутить во все стороны. Мария каким-то дежурным, а Анна — распорядителем.

Зарплата — копеечная, карточка — «служащая», ездить далеко. Это был ЦТА — цех топливной аппаратуры Киров-

ского завода. Устроил нас отец нашей другой Маруси — Барбановой, тоже отличницы, которая на рабфак не уходила. Она была из очень благополучной семьи работников треста столовых. Маруся уже училась в Челябинске, в медицинском институте. Потом стала санитарным врачом, вышла замуж за военного и уехала с ним куда-то в Сибирь. Думаю, что он служил в охране всем известных лагерей. (Мы потом, через много лет, встретились в Челябинске, у меня уже была Галя.) Анна проработала в ЦТА всю войну, потом куда-то уехала. Мария (Кравчун) пошла в армию, ее послали на курсы радистов, и служила она в летной части, вышла замуж, ребенка рожать запретили по состоянию здоровья, и умерла, не дожив до 40-летия Победы (в 1965 г.).

Вышла она замуж за человека, брат которого жил в Кронштадте и был моряком. Ее мужа к брату прописали, а Марию вытурили как дочь врага народа. Она уехала в Челябинск, ее муж — вслед за ней. Он поступил в пединститут на дневной факультет, потом стал преподавателем физики и математики. А для заработков вечером играл в оркестре перед киносеансами. Мария поступила на заочное отделение Свердловского университета и работала на Челябинском металлургическом заводе в юридическом бюро. В Свердловском университете она вдруг встретила Андрея Степановича (того самого, из нашей школы), который там преподавал, до того воевал в Волгограде, и в которого в молодости она была смертельно влюблена. Писала мне: «Боже! Какой же он неинтересный как мужчина... сухарь какой-то...». Очень завидовала мне, что я с семьей живу в Ленинграде и бываю в местах своего бывшего пребывания — Калинин мост, порт, Кировский район... Никто из моих учителей и соучеников не мог бы представить, что я останусь недоучкой. И хотя у меня всегда была хорошая, интересная работа, отличные контакты с людьми, но мне самой не этого бы хотелось. Но

в целом двадцать восемь лет стажа при ответственном муже, без бабушек и нянюшек, двое детей, внуки, правнуки...

Вася меня учить не собирался. Когда он преподавал в техникуме, там открылось вечернее отделение для людей, закончивших десять классов. Два года обучения. Как я просилась, как умоляла — за два года я получила бы диплом, специальность. «Это же среднее образование, а среднее у тебя уже есть». — «Но ведь это не диплом! И вечернее! И всего два года!». — «Нет!» И издевался, насмехался над Виталием Поляченко, который учил свою жену пять лет в институте — вот дурак! И детей у них не было, и потом у них жизнь не сложилась. Может, и дурак...

Итак, наша троица разбежалась...

Я трудоустроилась на химфармзавод, проработала там до рождения Гали. Как и все, мы работали по двенадцать часов без выходных и отпусков. Дежурили в госпитале.

Была у нас еще подшефная воинская часть. Она располагалась на седьмом участке ЧТЗ. Туда прибывали экипажи танкистов, потерявших свои машины в боях. Они часто участвовали вместе с заводчанами в ремонте машин, в комплектовании новых экипажей и через две-три недели снова отправлялись на фронт.

Как они просили писать им! Не грешна — никому ничего не обещала, хотя иногда на письма отвечала, если помнила парня, приславшего письмо на заводской адрес. У большинства ребят родные места были в оккупации, а если родственники эвакуировались, то часто не успевали сообщить на фронт свой адрес. Воинская часть у нас появилась, видимо, в конце 1942 года. В ней находились исхудавшие пережившие окружение ребята. Или потерявшие машины в боях. Все были временными в этой в/ч, медленно оттаивали и долго находились под гнетом пережитого. Здесь, в глубоком тылу, окружала их забытая об-

становка прежней жизни. И всегда мне об этом напоминает известный вальс: «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука...», который всегда наигрывал нам Володя Пятков⁶, прошедший Сталинград.

Я опять там была на видном месте — запевала в хоре и солистка в ансамбле танца. А партнером был солист ростовского театра оперетты. Все командовал мне: «Повернись ко мне лицом! Смотри на меня! Ты легкая какая (кожа да кости), а другую коровицу по сцене еле таскаешь!» (Это в театре когда-то.) Провожать себя я не больно кому позволяла. Смоюсь с группой девчат — непонятно куда. Зато на следующую субботу уже ждут заранее, и вижу, кто. Позднее этого партнера заменил другой парень. Мы с ним исполняли ритмические танцы и удивляли всех быстротой подготовки (ну, так это же — я!). Нас объявляли так: «Римма Потапова и лейтенант Нил Донович Волгин» (а мы знали, что он Жорка Пузанов — ха-ха-ха!).

Да, помню, 23 февраля отмечали 25-летие Советской Армии. Жорка совершенно очевидно уделял мне внимание, чем разгонял всякое другое окружение, но никогда меня не приглашал на танцы, танцевал с другими и записок мне при игре в почту не писал. Но на выходе «по домам» всегда оказывался впереди всех и шел провожать. Обычно до бабы Вари, и еще на лавочке посидим. Он — в валенках, в ватных брюках, в меховом полушубке, в шапке; я — в фильдекосовых чулочках, в открытых туфлях на каблуке, заправленных в резиновые ботики (почти детские), без каблука, в пальтишке «на рыбьем меху», в какой-то шапчонке; мороз — 30—35 градусов, без ветра, кругом белый крутящийся снег. Я — сплошная ледышка и — о, как хочется отлить! А не попросишься, еле терплю. И однажды он осознал, — не последнее

⁶ Владимир Анастасьевич Пятков (1915—1990), коллега Василия и друг нашей семьи.

обстоятельство — что я промерзла — да как ты терпишь, да что же ты молчишь? «Ну, так я пошла...».

Через пару дней по шефским делам он пришел на завод. Вера Григорьевна, мой начальник цеха, она же председатель профкома, встретила шефа, повела по заводу, а он спрашивает: «Вы поведете меня в цех, где Римма работает?» Она: «Мы туда и идем...». «Так она у вас работает?» Вера Григорьевна ему всякие похвалы в мой адрес. Я хожу по цеху, как требует моя работа. Кабинет Веры Григорьевны от цеха отделен стеклянной перегородкой. И вдруг вижу: «шеф» выпялился и говорит Вере Григорьевне: «Позовите ее зачем-нибудь...». Позвала. Тары-бары-растабары... «Римма, а вам не надоело работать?» — «Нет. У меня хорошая работа. Мы работаем на военную приемку, во-первых, а во-вторых, у мамы маленькая зарплата...» — «А вот я и хочу вас попросить перейти на мое иждивение...». Вера Григорьевна: «Ну уж нет! У Риммы в смене 80 человек, мы не можем их осиротить...».

Бывает и такое предложение руки и сердца...

Через какое-то время опять провожались, я мерзнуть не стала, постучала в окно. Томка открыла ворота (они были уже на задвижке), мы пошли в теплую избу, кавалер медлить не стал, вмиг разделся — и в постель! (Чего же еще — предложение сделал, ответов, видно, ждать не обязательно). Я в пальтушке сижу на стуле и говорю — ты это что? Нука, катись-ка давай. А он мне: как это «катись»? Все равно же мы с тобой поженимся... Я: «Ты, видать, с ума сошел? Я же — девчонка, а ты что?» — «Все равно же мы поженимся...» — «А вот не все равно». — «Ну, если женщина так прогоняет, что я должен думать?».

Пошел с оскорбленным видом, я закрыла ворота на задвижку. К «шефам» долго не ходила. Он приходил к бабе Варе, все спрашивал, как ему Римму найти, а Варя

говорит — она далеко живет, у областной больницы... Потом его отправили на фронт. Вскоре. Так что не попросились. Это вам эпизод для характеристики времени. Что представлял собой наш химфармзавод № 6. Это бывшая чаеразвесочная фабрика купца такого-то (не знаю). Еще до войны завод имел несколько цехов: бинторезный, таблеточный, лекарственный, ампульный и др. Во время войны построили цех барбитуратов, увеличили котельную и т. д. К 1941 — 42 гг. на заводе работало около пятисот женщин и человек пятнадцать мужчин, в том числе главный инженер, главный бухгалтер, главный механик, слесари, шоферы. Наш бинторезный цех сразу стал выпускать индивидуальные перевязочные пакеты для бойцов. Вот в эту бригаду я и попала. Работать были обязаны все — в нашей бригаде работала жена секретаря обкома, жена управляющего КГБ, одна генеральская жена, еще какие-то солидные люди. Меня туда включили, видимо, за грамотность. Во время работы женщины болтали обо всем на свете, стараясь, чтобы я не понимала, учитывая мою молодость и неопытность. Я и не понимала, а им было смешно. В это время в цехе и на заводе уже было много эвакуированных, подселенных к жителям Челябинска «на уплотнение», в том числе и в частные дома. Работала у нас семья из Ленинграда. Отец — военврач, на фронте. Мать, дочь и сын (Вилька) — у нас. Они уехали в Ленинград в 1946 г., когда отец прислал вызов (Ленинград был для прописки закрыт). Мы много говорили о Ленинграде, об их дороге в эвакуацию, об октябрьских (1940 г.) Указах, касавшихся и меня.

Никогда не думала и представить себе не могла, что в изготовлении бинтов может быть задействовано столько станков. Целый станочный парк! Бинтомотальные машины, бинторезные электрические пилы, пресс, автоклав для стерилизации, много ручных работ, включая упаковку и

т. д. В цехе — чистота. Все в белых халатах и косынках, два-три раза в смену — влажная уборка помещения. Вход в цех через три помещения — раздевалка, кабины с халатами (индивидуальные) и потом — цех. На окнах множество цветов. В углу — рабочий стол мастера. Весь цех на виду. За стеклянной перегородкой — кабинет начальника цеха Веры Григорьевны Смирновой. Когда я пришла в цех, ей было 30 лет. Муж был намного старше и был направлен на фронт. Считался пропавшим без вести. Она полагала, что где-нибудь не вышел из окружения. Он до войны работал в радиокомитете и диктором, и редактором, и режиссером. В 1945 г. она вышла замуж за капитана нашей подшефной воинской части и уехала с ним в Харьков, где у него уцелел дом и сад. Туда же увезла своих мать, сестру, теток. В Челябинске Вера Григорьевна жила недалеко от нашего барака, в хорошем благоустроенном доме и часто брала меня к себе ночевать после наших шефских вечеров. Все обо мне знала, в том числе и о некоторых кавалерах. Видимо, прониклась ко мне какой-то привязанностью и сочувствием, да и своеобразным уважением. Всегда у меня были новые песни и стихи. И много писем я писала на фронт в кисеты, в посылки и теплые вязаные носки. Но главное в этих посылках на фронт было — письма.

Вызывает: «Римма, иди ко мне домой, расшевели моих теток. Надо бы еще штук десять кисетов вышить (в общий котел завода)». Иду. Сидят. Зевают. Крою кисеты, снимаю рисунки на них, вышиваю, пишу письма. Глядишь, и тетки зашевелились понемногу.

Конечно, хорошо помню корреспондента «Красной Звезды» Константина Симонова, его необычные репортажи. И потом его сборник «С тобой и без тебя», где в стихах его необыкновенная любовь к В. Серовой. И много лет спустя его эпитафия ей же:

Под камнем сим лежит она,
Серова Валентина,
Моя и мно-о-о-огих верная жена
Впервые здесь лежит одна...

Потом, позднее, «Красная звезда» начала печатать «Василия Теркина» А. Твардовского по главам. Ждали. Ловили, учили наизусть. Тут же шло в самодеятельность, на сцену, на бис. И в госпитале читали Твардовского и Симонова. Люблю и сейчас. Храню экземпляр «Теркина» издания 1946 г.

А еще восхищаюсь его стихами «Я убит под Ржевом...» — понимай, еще в первые дни войны. Тогда я их не читала. Подозреваю, что их тогда и не печатали, а опубликовали позже.

«...Я — где корни слепые
Ищут корм в тишине.
Там, где с облачком пыли
Рожь встает по весне,
Где травинку к травинке
Речка пряжу прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет...»

Вообще — война, разруха, голодуха, немец прет, полстраны под немцем, через неделю от начала войны немец в Минске, к 1 ноября — под Москвой, 42-й год — под Волгой, у Сталинграда, Смоленск, Кавказ... безнадега, Псков, Новгород — под немцем; к 9 сентября 1941 г. — блокада Ленинграда на 900 долгих дней; миллионы пленных, миллионы убитых, миллионы потерявших друг друга семей... Все это гнетет, какое там настроение. Где выход? Где терпение? Где просвет? Какие надежды? Это мои восемнадцать лет, это — черная завеса, вся жизнь — сквозь нее. Однако и

работа, и госпиталь, и в/ч, и вся прочая жизнь, в том числе и наша самодеятельность, и Теркин, и Симонов и т. д. — все-таки проблески, все-таки действие.

В июне 1941 г. пошла в военкомат. В красном с мелкими цветочками сарафанчике — сатин-либерти. С собой — алюминиевая кружка на 200 граммов, зубная щетка, ложка и папин старый котелок. Рост — 150 см, вес — 44 кг. Подала заявление — в армию. Маме не сказала ни звука. Военком молча, серьезно посмотрел на «вояку». Кое-чего, наверное, подумал — понимаешь ли ты, дурища, куда просишься? А вслух сказал: «Послужить хочешь?» Я мотнула головой. Он: «Вот тебе сто мобилок⁷, разнеси по адресам, завтра придешь». Все сто путевок — по самым окраинам Челябинска. Полуземлянки, удобства во дворе, огороды, в них пугала, в каждом дворе на цепи лохматый собачица — жуть! Разнесла. Всюду меня встречал рев матерей. Пришла к военкому: «Разнесла?» — «Да». — «Видела, кого пока берем?» — «Да». — «Где работаешь?» — «На фармзаводе». — «Матери сказала?» — «Нет». — «Почему?» — «Два брата служат, она с ума сойдет». — «Пусть пока братья твои послужат, а ты поработай».

Маме об этом я не сказала никогда.

Чтобы прийти в наш барак, надо было пройти большое пустое безжизненное пространство, размером примерно в две трамвайных остановки. Трамвай эту дорогу обходил где-то в стороне и поворачивал на кольцо около областной больницы. Однажды на этом поле меня окружила «собачья свадьба» — видимо, это было весной. Когда с десятков собак ходят, кружат, подвывают — и вот я в центре, а они вокруг. Морды вытянуты к луне и хором воют на луну. Атавизм от волчьих еще привычек. Ночь. Час ночи. Стою. Жуть. Боюсь шелох-

⁷ Это, к сожалению, не мобильные телефоны. Гораздо серьезнее. Это — мобилизационные предписания.

нуться. Говорили женщины, что в этом разе — разорвут. Не знаю, не читала ничего по этому поводу. И вдруг в стороне раздался собачий вой — наверное, такая же «свадьба», и мое окружение ринулось туда, расправляться, а я — домой! Но ходить-то все равно надо, туда и обратно. В другой раз иду по тому же месту. Ночь. Ни огонька. Из темноты вырастают два мужика: «Стой!» Стою, в своем красном сарафанчике, рост 150, вес 44, в руках только пропуск на завод, никакой сумки. «Куда идешь?» — «Домой». — «Откуда?» — «С работы». Осмотрели. Взять нечего. «Ну, иди, да скажи папе и маме, чтобы не пускали тебя ночью по полям гулять...».

Вот потому я иногда ночевала на заводе, в бухгалтерии на столе, под голову — две папки, и прикрыта, как Теркин, — только собственной спиной. Когда и что я ела — как-то и не помню. Думаю, что не всегда. В дневную смену работала на заводе столовая. Например, щи крапивные с галушкой. Вода, крапива, маленькая ложечка какого-то черного растительного масла и кусок теста — галушка. За это я должна была отдать карточки — 5 г жиров, 20 г крупы. Дома мама приносила из столовой свою геркулесовую кашу, ее разводили водой, кипятили, подсаливали, получалась такая похлебка — это было раз в день. Покупать мы ничего не могли из продуктов. Кур давно съели. Прикрепляли к отовариванию только мамину продовольственную карточку — военный завод. Ритину и бабушкину (иждивенческую) карточку нигде не прикрепляли. Фармзавод считался предприятием II-й категории, его до 1944 г. тоже не прикрепляли. Я продавала на барахолке свою продовольственную карточку и покупала за эти деньги буханку хлеба в наш общий котел.

Хлеба давали	маме	900 г в день
	мне	600 г в день
	бабушке и Рите	по 350 г в день
Всего		2 кг 200 г в день.

Давно мы столько хлеба не съедали, но в то время не было приварка, и хлеб вмещал в себя разную труху — пшено, отруби, не знаю, что еще, но он был сырой и тяжелый. В общем, закалялись. По радио везде нам объясняли, что нельзя собирать и есть мороженую картошку, но жрать очень хотелось, и мы собирали и выкапывали плохо собранную на совхозном поле картошку, промывали ее, натирали на терке и «жарили» прямо на горячей плите, без всяких жиров и сковородок. Получалось нечто вроде белорусских «драников» (я тогда о таком блюде не знала, но мы его готовили и ели). На работе тоже булькает какой-нибудь автоклав — идет стерилизация чего-нибудь, а вокруг насована мытая картошка в мундирах — красота! Встретится на лестнице начальница таблеточного цеха, сунет тебе в карман шарик — заготовку витамина «С» — вкусно, сладко, а после него втрое больше жрать хочется...

Весной 1942 г. весь наш барак раскопал перед окнами свой чернозем, примерно в полторы-две сотки вдоль окна и до дороги, а сажать — чем? Я вышила одной женщине (Спирина ее фамилия) большую портьеру из льняного полотна, ее нитками, тройную. За это она дала мне десять яиц, десять огурцов и небольшое ведро мелкой картошки на посадку. К концу августа — началу сентября выросла крупная картошка. Весь барак прибегал смотреть — как поросята: белая, розовая, рассыпчатая, сухая, много, вкусно!

К 1943 г. (зимой) стали отоваривать наши карточки, — чем бы то ни было, но мы уже хоть что-то из продуктов получали, плюс нам давали спецпитание — молоко, суфле (раз в неделю), иногда сметану; премии — спиртом. Спирт мы тащили на базар, у нас его расхватывали (96°), разводили как следует — отменная водка. Кировский завод снабжался несравненно лучше, обильней и по количеству,

и по качеству. Кроме того, Зальцман⁸ направлял в села танки с прицепом и закупали для СКБ⁹ — картошку, бобы, фасоль. Все это продавалось работникам завода, большое подспорье.

И на войне — перелом. Сталинградская битва (1943 г.); Орловско-Курская дуга (главная танковая битва войны, 1943 г.); прорыв блокады Ленинграда и т. д.

Мои братья всю войну служили на Дальнем Востоке. Юрий участвовал в войне с Японией в Манчжурии и в какой-то части Китая. Он был пулеметчиком и рассказывал о многих на войне, когда люди (в том числе и он) случайно оставались в живых, когда рядом кто-то погибал.

Для моих братьев я до самого их ухода в армию оставалась младшей сестренкой, которую они опекали, когда я стала уже «барышней». Как я уже говорила, баба Александра с нами не жила до рождения Риты (1932 г.). То она домовничала, то жила самостоятельно в своем доме на Нагорной улице.

Мама всегда работала, и мы — тогда еще трое детей — были очень самостоятельными. Когда я уже пошла в школу, братья присматривали, чтобы я не опаздывала и чтобы не забыла чего взять с собой. Меня это обижало, и я им орала: «Я сама!», братья учились во вторую смену, а я в первую. Женька подходил к школе и щелкал моих одноклассников по затылку. «Ну, кто тут тебя обижает?!» Мне было стыдно, да и никто не обижал. Я ору: «Никто! Никто!» Не обращая на мои вопли ни малейшего внимания, Женька в порядке профилактики щелкает мальчишек: «Этот? Этот?» И потом, если что-то не так, мальчишки говорят друг другу. «Не тронь. Скажет брату...» Это и была Женькина стратегия. Я, правда, братьям никогда не жаловалась. Но Женька и сам

⁸ И.М. Зальцман — директор Кировского завода в годы войны.

⁹ Специальное конструкторское бюро.

изгалялся над моими куклами, а Юрка щелкал его за это: «Одна у нас сестренка, да еще будешь обижать ее!»

Они давно бегали на «хоккейках» по тротуарам, а я за ними (стадиона еще не было). И вот мама купила мне снегурки и велела им учить меня кататься на них. Я в валенках. На валенки мне веревкой прикручивают коньки, берут с двух сторон за руки и катят. Сначала на одном коньке, а потом — на двух. Им неохота со мной возиться, но мать слушались всегда. Да и сами понимали, что надо Муську учить. Но я как-то быстро выучилась. Сначала на одном коньке гонять, а другой ногой отталкиваться от тротуара. Тут же они гоняли на своих «хоккейках» и присматривали за мной.

Когда я стала ходить на каток, и меня там опекал (чуть старше) хоккеист (из хоккейной команды), вижу на стадионе Женьку — катается один, руки назад, на шее шарф, наушники на ушах (чтобы не отморозить уши), выразительно на меня посмотрел — дескать, вижу твои номера. Проехали круг, Женька выражает, что, мол, все вижу. Мой хоккеист говорит — посиди-ка пять минут на скамейке, я этому фразею пойду *наслеушаю*, как следует, чтобы на тебя косяки не бросал... Я говорю: «Да это мой брат!» — «Ну ладно, тогда пусть косится...» Примерно в то же время Женька говорит Юрке: «Скажи своему Букрею (Только Букреев из одного с ним класса), чтобы не *косушарился* на Муську». — «Да ты чо? Он же ко мне с математикой ходит». — «Скажи, чтоб не *косушарился*, а то такую математику вам обоим навешаю...»

Прозевали меня братцы позднее, когда в армию ушли...

Когда в доме появилась Рита, единственная маленькая, мы все ее очень любили. Она была очень миниатюрная, хорошенькая, а к годам четверем у нее высыпали на носу веснушки, тоже маленькие, хорошенькие. Братья стали ее называть Рябчик, и так до самой их армии. Рябчик — это

маленькая водоплавающая как бы уточка, но это — рябчик, рябенький, съедобный и вкусный. И с охоты всегда, вместе с другой дичью, приносили рябчиков и куликов.

Мама для Риты покупала повидло и сливочное масло, и ее кормили отдельно и чаще, чем всех нас, естественно. Она просила: «Полидиями, масельками» — т. е. кусок булки с маслом и повидлом. Мы все считали, что она очень похожа на отца и что он оставил нам ее на память о себе. Ей было четыре с половиной года, когда он умер. Мама плакала над ней спящей и все говорила — вот сиротка-то осталась...

Бабушка читала ей книжки вслух, она быстро их запоминала, и когда бабушка не так переворачивала страницу, Рита ей говорила: «Куда ты? Куда ты?» Баба думает, что Ритка ей подсказывает, и читает с выражением: «Куда ты, куда ты?»... Читали они какую-то книжку (наверное, «Дядю Степу»), там слова: «Из брандспойта тушит дом». Баба читает: «Из брандеймейстера тушат дом...», Ритка от смеха катается по полу, а мы умираем со смеху над Риткой.

В 1941 г. Рите было девять лет, и мы уже жили в бараке. Рита уже разжигала печку лучше меня, дружила со всеми ребятами в бараке, знала мордовский язык, ходила в школу, которая тоже потом стала госпиталем, а ей пришлось ходить в другую школу, далеко. После седьмого класса она поступила в техникум, но потом его бросила и пошла работать на кафедру черчения в институт механизации сельского хозяйства. Подрабатывала на дипломах, хорошо чертила и знала чертежный шрифт. Когда у нас появилась Галя, Рита ее очень любила. И в Ленинград к нам приезжала не раз.

Мама оставляла нам большую корзину с овощами — капуста, морковка, картошка, лук, свекла. К ее приходу с работы (18 часов) мы должны были начистить эти овощи, и она быстро готовила обед. Следил за этим Юрка, и никаких разногласий у нас не существовало. Этот обед был у нас и

ужином. И часто утром она нам его подогревала — перед школой. «А, как они там днем поедят, а я их накормлю с утра, чтобы в кишках что-то завязалось...»

Днем мы, по-моему, ели молоко с хлебом, брали у соседки четверть молока (это бутылка около трех литров). Не помню, чтобы в доме были каши. Зато помню, как всей семьей в воскресенье делались пельмени. Отец в деревянном корытце рубит сечкой мясо, смесь говядины с бараниной и луком, рубит тщательно, размешивает, разворачивает, превращает в однородный фарш, солит, перчит (мясорубку не признает — будете давить мясо, а надо рубить, сечь). Мама замешивает тесто, хорошо перемешивает, тыкает пальцем — ямка, но тесто само выправляется; накрывает его эмалированной миской, дает отдохнуть от рук. Дальше мама и бабушка скут соченьки и все мы по кругу щиплем пельмени. Самые красивые у отца — аккуратные, с рюшкой. Стараемся ему подражать, но вовсе не у всех получается. Защищываем штук 300—400 пельменей на большую гладильную доску. Выносим на мороз в чулан (часть сеней). Отваривается и съедается примерно половина сделанных пельменей — штук по 30—40 каждому, остальные замороженные хранятся на морозе — на потом. Пельмени едятся кто с чем: уксус, горчица, сметана (что-нибудь одно). Вот пельмени с бульоном — это ленинградское изобретение (суп с пельменями). На Урале я этого не видывала. Никогда не помню я маминых беляшей, хотя я их люблю, и считается среди моих знакомых, что умею. Еще из довоенных блюд надо вспомнить домашнюю лапшу, которую делала мама. Ничего похожего не представляю в покупных мучных изделиях. Лапша делалась для куриного бульона. Детали опускаю. Раскатывался большой блин из тугого теста — тонко, диаметром около 50 см. Немного сушился, нарезался «лапшой» и опускался в кипящий куриный бульон. Мама вообще была хорошая кулинарка и отменно пекла

пироги, особенно сладкие — мокрый пирог (напитывался горячей грушевой эссенцией), блинчатый пирог (высокий, штук на 15—20 тонких сладких блинов, пропитанный сбитой со сметаной «промазкой»). Торты не пеклись никогда (из-за вредности жиров).

Вообще хорошо помню нашу широкую, горячую русскую печку. Большая, она стояла посередине кухни, напротив окна. У окна на кухне — стол. Печка от стены справа отстояла примерно на полметра. В этом закутке — ухваты, помело из сосновых веток для выметания печки и очищения пода под ней. Хлеб выпекался на поду. Хлеб в магазинах стал продаваться примерно в 1934 г., килограмм в руки (а до того были хлебные карточки). Я иногда пропускала школу, стояла в очереди за хлебом. Хлеба нет, а очередь за ним стоит. Привезут неизвестно когда. Привезут — начинают «давать», «отпускать», несусь домой, за бабушкой, и вообще кто дома есть — все покупаем по килограмму хлеба, без карточек. Хлеб кончается, продали, не хватило — до свидания, до завтра. А до 1934 г. мама заводила двухведерную квашню, промешивала, тесто поднималось — и вот в воскресенье печку топили под хлеб, до того еще на углях каждому из нас мама выпекала на сковородке по лепешке. И мы съедали их горячими с чаем и почти всегда смазанными маслом. Потом печку закрывали загнеткой, и мама на железном листе или на двух пекла собаке булочки из отрубей. Лист с булочками выносили для остывания в сени (собаке горячее нельзя, может потерять нюх). Часто собаке они не доставались, мы их съедали вперед всякой собаки. Потом мама пекла хлеба круглые, примерно на неделю. Хлеб складывался в чистое полотно, заворачивался, боже избавь бросить какой-нибудь кусок или корку! Хлеб — это свято.

В закутке еще стояла табуретка, на ней «поганый» таз, над ним умывальник, мыло и т. д. В этот же закуток мама

приносила и ставила на ножки новорожденных поросят, которых «приносила» наша большущая свинья. Их бывало часто по двенадцать штук. Мама ставила их тут же «на каблучки» — вот: тюк-тюк-тюк и хрю-хрю-хрю одновременно! И им очень хочется оттуда удрать и вообще выглянуть на белый свет, но закуток задвинут, закрыт табуреткой, и они толпятся, толкают друг друга всю ночь, а утром их забирают к свинье, которая ложится на бок и кормит их, похрюкивая, а они опять толпятся и топчут друг друга, и засыпают, отваливаются... Смешные и хорошенькие. У мамы была мода вымыть свинью щеткой с мылом. Свинья стояла возле табуретки, довольно похрюкивая, и умудрялась мыло обязательно сожрать, и тут же с радостью увалиться в какую-нибудь жидкую грязь — вот и все дела!

Однажды в доме дружно жили котенок, собачонок и черненький крольчонок. Они вместе спали, прижавшись друг к другу и так согреваясь. Была зима. Они знали шаги отца и выбегали его встречать к входным дверям. Причем крольчонок садился на задние лапки и ждал, собачонок прыгал, ластился, а котенка отец брал на руки и гладил, не успев раздеться. Крольчонку же он с руки давал сахарный песок, и он его хрумкал, смешно подергивая носом. Конечно, они постоянно устраивали содом, гоняясь друг за другом. И однажды собачонок догнал крольчонка и прижал челюстями, тот сник и упал. Собачонок был очень удивлен. И остались они вдвоем с котенком, ели и спали вместе до самого тепла, до самого лета. Котенок потом стал гулять сам по себе, а псинка стал шоколадным сеттером-лавераком и ходил на охоту с отцом и Юркой. Евгений не был таким увлеченным охотником, как отец и Юрий.

Когда отец брал в руки шомпол, чтобы чистить ружье, его собаки прыгали, лизали его в лицо, радовались от полного счастья! Собака была одна, конечно, но в доме их перебивало

много. Сначала у отца, потом у Юрия. Все они были хорошо натасканы, воспитаны, имели хорошую служебную дисциплину. Знали запрет на определенные вещи: «Тубо!» — нельзя. И вот собираются на охоту. Соседка говорит: «А Тубу-то с собой возьмете?» Друзья отца были отменными охотниками, верными друзьями, общительными людьми. Все горько жалели нашего рано ушедшего отца, а во время похорон на кладбище устроили ему прощальный салют. Провожал его весь Водоканалтрест, сотни людей.

И вот мама осталась с нами одна, сама шестая, с одной зарплатой на шесть ртов. Правда, мы были воспитаны в строгости и в скромности, никому никогда и в голову не могло прийти канючить или что-то у матери попросить. Братья окончили по восемь классов и пошли сначала работать, а потом в армию, потом — война. Об этом уже писала.

В 1943 г., видимо, в сентябре, познакомилась я с Василием Степановичем Старовойтовым.

Со мной вместе работала молодая женщина, Клара; у нее было две дочери — двух и четырех лет. Красивая пышнотелая блондинка, синеглазая немка, а замужем за работником милиции. И жила эта семья с отцом и матерью Василия в одной квартире. Старовойтовых туда подселили во время эвакуации, и Василий там, у родителей, иногда бывал. А жил в общежитии Кировского завода и работал всю войну на Кировском заводе, в СКБ-2 (специальное конструкторское бюро) по проектированию и совершенствованию танков и иже с ними. Клара говорит мне: «С тобой Васька хочет познакомиться». — «Какой еще Васька?» — «Тети Юли сын. Он умывался в ванне и горланил что-то, вытягивая шею. А я сказала — тоже певец! Вот я работаю с девушкой — вот поет так поет...» — «Ну, так познакомь меня с ней». И принесла на работу предвоенную фотографию: Ульяна Трофимовна (1894—1978), Василий — студент второго курса МВТУ,

его сестра Нина (1922—1973), ученица пятого или шестого класса, полная, титястая, на лицо молодая.

Ну, познакомь да познакомь. Назначили время, я уже шла туда, а с полдороги ушла куда-то в другое место. Думаю: вот, скажет, образовалась, пришла. А на фотографии они еще все трое не понравились. Да и как это — идти знакомиться?..

Режим работы у нас на заводе был много лет таким: без выходных и отпусков, 12 часов в день. А при пересменке (с дневной смены на ночную, по 12 часов — с 8 утра до 8 вечера), с 8 утра до 17 часов, потом перерыв три часа, и с 8 вечера до 8 утра ежедневно, полную неделю. Я в этот трехчасовой перерыв (с 17 до 20 часов) могла бы успеть только прийти до дома и от дома обратно до завода — смысла не было никакого, потому я шла, например, к Кларке, посидеть у нее и выходить в ночную смену, с 8 часов вечера на всю ночь. Обе ее дочери облепляли меня — одна на спину, другая на руки и дурачились как хотели со мной. Клара торопилась что-нибудь сделать по дому, пока дети заняты.

Так было и в этот раз. Я сажу, облепленная, к всеобщему удовольствию, а Клара пошла к соседям и позвонила Василию на работу, что, дескать, Римма пришла и будет здесь до 8 часов вечера. Я этого ничего не знала, а кавалер мгновенно примчался. Было это в начале сентября 1943 г. Он только вернулся с Орловско-Курской дуги, там шли бои, а Василий был командирован с завода туда с полком САУ — самоходных артиллерийских установок, главным конструктором которых он был. САУ были дополнением к танковому вооружению и участвовали в известном танковом сражении на Орловско-Курской дуге. За этот свой вклад Василий был награжден первым своим боевым орденом — Красной Звезды. Конечно, об этом я узнала много-много позднее, когда уже работала вместе с ним и прошла соответствующие допуски к этим работам.

А тогда вдруг влетел порывистый, быстрый, раздумавшийся с ходу, уверенный в себе, ничего такой парень и резко уставился, разглядывая расписанную ему ранее девицу.

Я ему совершенно не понравилась — и чего расписали, думает? Что такого? А мне — наоборот, на фоне всех моих мальчишек и танцоров-ухажеров — он показался решительным, уверенным в себе парнем, знающим себе цену, знающим цену и девушкам, которые на пути попадались ему много крат. Ну, познакомились, потрепались, расстались, встреч никаких не назначили, попрощались. А все же я уже за годы привыкла к тому, что ко мне было определенное внимание. А тут — ноль внимания, фунт презрения. Я делилась со своей начальницей, Верой Григорьевной, и она уже знала, что мне Василий понравился. Пришли в цех утром, она говорит: «Римка, у Кировского завода сегодня культпоход в театр оперетты на «Летучую мышь», я отобрала у Георгия (ее муж) два билета. На, иди, может, Василия там встретишь...» Взяла. Пошла. Прихожу. В вестибюле стоит Василий со своим другом, Володей Михайловым, с которым они пять лет учились вместе в МВТУ и сейчас живут в одной комнате в общежитии Кировского завода. Василий сразу: «А, Римочка! А мы стоим, думаем — идти или нет. Нам объявили, что будет «Коломбина», а мы «Летучую мышь» уже видели. Но раз ты идешь, мы тоже пойдем». Сидели где-то врозь, в перерывы погуляли вместе (перерывы были большие, так как не было передвижных декораций), уходим домой, прощаемся, провожать никто не идет (невежи!). Что ж?

На Кировском заводе в Челябинске в войну работало примерно 60 тысяч человек, и именно эти два человека пришли в театр в этот день. Может, и судьба?.. Но оба они полюбили меня гораздо позднее, без всяких театров. Так, ни шатко, ни валко, иногда ходили в киношку, иногда встречались у Кларки, без видов на перспективу. Но Вася, конечно, очень

нравился мне и своей независимостью, и развитием, и, наверное, равнодушием ко мне. Ему было двадцать четыре года, он работал уже почти три года. Могло ли мне прийти в голову, что он женат, что у него дочери четыре года, что жена бросила его, вышла замуж за друга своего отца, на двадцать два года старше ее и ждет от него ребенка? Он весь был в переживаниях и от всего случившегося, и от женского коварства и неверности. И с чего ради я могла бы ему понравиться, когда он решил, что «все бабы б... и продажные шкурехи», и что «она» клялась в любви и верности. А когда он послал вызов на всю их семью (мать, отец, жена, дочка) из Пятигорска в Челябинск, ответила, что, мол, приезжай ты сюда, мы тут лучше проживем, — то есть совершенно невозможные вещи... По окончании института Василий по направлению должен отработать пять лет — раз, немцы двигаются на Кавказ — два, и вскоре заняли Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды и двигаются в Грозный, Моздок и т. д. на кавказскую нефть... Комментарии излишни. Семья осталась в оккупации, под немцем, занялись там торговлей — что-то вроде лимонада с сахарином. Василий узнал об этом после их освобождения от немцев. В оккупации Лиля (жена) сошлась с другом отца и стала жить своей семьей в одном доме с родителями и дочкой от Васи. Что нам писали газеты и говорило радио об оккупации и зверствах там — расстрелах, виселицах и т. д., и что много было и выдумки, и правды, и что мог передумать и пережить Василий — ясно.

Но обо всем этом я узнала потом, потом. А сейчас видела только то, что мы друг к другу относимся очень по-разному. Он говорил мне потом, что удивлялся моему такту: «Какая тактичная девушка, ни одного вопроса о семье, жене и девочке... Ведь уж Кларка ей, наверное, все это изложила в первую очередь...» И когда потом я спросила Кларку, по-

чему она мне не говорила об этом, она сказала: «Так ты же не стала бы и знакомиться, а он очень хотел...» К тому же Кларка говорила, что тетя Юля сказала: «К Кларке девушка ходит — до чего же на нашу Лилю походит!». Вот и вся завязка. Много чего могло быть не так, как было...

Осень 1943 г. Уже был Сталинград. Уже наша победа на Кавказе. Уже освобождается потихоньку Белоруссия, и отца Василия Степановича, Степана Архиповича Ставро-войтова (1894—1979) направляют в реэвакуацию в Бело-руссию. Там дойдет он до западной Белоруссии, до реки Вилия и до райцентра Вилейки, где работал до войны. Отец и мать Василия Степановича — белорусы, отец из Гомель-ской области, мать — из Витебской. Родились в один год и месяц: 1894 г., мать 17 декабря, отец 24 декабря. Свои дни рождения и день свадьбы они отмечали всегда вместе в очередной Новый год. Видимо, они поженились в 1917 или 1918 году, так как Василий Степанович родился в январе 1919 г. Мать, Ульяна Трофимовна, никогда не видела своего отца, а помнила, что ее мать жила в батрачках «у панны». Помнила, что был у нее братик, который умер примерно в десятилетнем возрасте. Помнила, что ходила помогать матери полоть длинные-длинные ряды посевов свеклы. Рас-сказывала, что когда ей было лет десять, панна взяла ее в дом убирать комнаты, а летом она по-прежнему помогала матери полоть. Где жила мать, когда Юля убирала комна-ты, никогда не говорилось, но жили они с матерью врозь. В 1916 или 1917 году Юля уехала в Москву и поступила на спичечную фабрику, где уже работала какая-то женщина или девушка из их округи. Она Юле помогла устроиться на работу и в общежитие. Признаем, что у Юли и в старости была природная смекалка и врожденная сноровка. Юля была абсолютно неграмотна. Когда я уже была женой Василия и узнала об этом, возмущению моему не было предела. Ведь

это было уже после войны, ей было уже за пятьдесят лет, и она не разделяла моего возмущения: «А зачем мне? Мне надо письмо прочитать, так вон Нинка (дочка) мне прочитает. А надо письмо написать, так вон Васька (сын) напишет...» Но когда мы научили ее читать (в основном, Степан Архи-пович), с какой радостью и упоением читала она русские сказки и детские книжки...

У родителей Степана Архиповича была большая семья. Его мать умерла во время родов, а был он восьмым ребенком в семье. Архипа сосватали с какой-то женщиной, и со дня рождения Степана Архиповича она нянчила его и растила. На восемь детей пошла она замуж, да своих еще родила тро-их, и жили они все в одной хате — на лавках, на полотах, летом на сеновале... Ни когда не слышала ее имени, Степан Архипович неприязненно называл ее не иначе, как мачехой... Хотя признавал, что она его по-своему жалела. Признавал и Василий Степанович, что его она тоже жалела, когда он чуть не утонул во время осеннего ледохода. И спасла его, вытащила лошадь. Она сопротивлялась, не хотела идти на треснувший лед, а мальчишка ее понуждал и провалился, и утонул бы, если б не сумел вцепиться в гриву. На хуторе, где жила семья Степана Архиповича, была только двухклассная школа, а в третий класс дети ходили уже в деревню Морозо-вичи. Зимой родители делали им нечто вроде факела: пучок соломы смолили, привязывали к палке, и дети по очереди несли факел по многокилометровой дороге через лес, боясь, чтобы их не задрали волки. А дедушка Архип и его жена жили в Морозовичах. Весной уже по зимней дороге не ходи-ли, шли через речку. Мать Василия Степановича не велела ему идти в школу, так как река вскрылась. Но мальчишка не представлял — как это можно не идти в школу? Пошел, чуть не погиб, бабушка-мачеха укутала его в тулуп и парила на печке до седьмого пота. Но все-таки в молодости его мучили

боли в ногах, и еще будучи студентом, он ездил однажды в санаторий на Кавказ, на воды, в Цхалтубо.

У бабушки и дедушки Василия, видно, часто угощали квашеной капустой. И когда я делала вкуснейшую, диетическую квашеную капусту, он ее не ел и говорил мне: «Никогда не давай мне кислой капусты, ненавижу! Меня в детстве закармлили ею!» И только глядя, как поедают эту капусту наши гости, решился попробовать и сказал: «Совсем не такая!» — и иногда подкладывал себе к горячей картошечке.

Степан Архипович в деревне Морозовичи окончил двухклассную церковно-приходскую школу (выходец из многодетной семьи — одиннадцать детей) и, видно, проявил способности к учебе, так как учитель и батюшка ходатайствовали за него в смысле продолжения учебы, и он по разрешению начальства учился еще год или два (не знаю) вдали от дома. Отпускали только на воскресенье, а потом шел по морозу в тонком зипуне обратно в школу на неделю. С собой мачеха давала два круглых гречневых хлеба. Вспоминал, как замерзал по дороге и пытался скрыться от ветра за березкой, и как случайный человек растолкал его и заставил шагать в школу. Вспоминал, как вдвоем с таким же бедняком они под одеялом учили уроки и потом уже на занятиях отвечали хорошо, лучше богатеев-лодырей, и как богатеи просили их сварить им кашу. «Мы не отказывались, зато нам перепало горяченькой каши».

В армию его взяли примерно в 1914 г. Служил в Питере, как-то смотрел за дирижаблем, который «парил» на канатах возле Зимнего дворца, выполняя защитные функции. Шла I Мировая война, он прослужил ее в Питере. Про революцию не рассказывал ничего.

После демобилизации поехал домой через Москву. Там зашел к своей землячке в общежитие спичечной фабрики. Там и познакомился с Ульяной Трофимовной. Очень она

ему понравилась, и уговорил поехать с ним на его родину и там пожениться. Ульяна Трофимовна рассказывала, что на первые заработки в Москве купила она себе высокие ботинки на шнурках, полшалок кашемировый, цветастый, какие-то кофточки. Для девушки из далекой провинции все это были, конечно, завидные и небывалые вещи.

Приехали в Морозовичи. Привез «городскую». Сыграли свадьбу и стали жить в этой же избе, где вся семья. Часть старших детей (Степан Архипович был восьмой) уже пережилась, отошла. Со дня рождения Степана опекала его старшая сестра Авдюля, называла его «Степок». Авдюля прожила девяносто два года. Мы ее не видели никогда. Приезжали к нам младшие братья Степана Архиповича, в частности Гриша и его дети. Василий Степанович ездил на родину, в Морозовичи, в Буда-Кошелевку, виделся с родичами, все хотели его накормить, напоить от души, удивлялись, что не пьет, все предлагали «яешню с салом» — излюбленная закуска тех мест для очень дорогих гостей. В почете у семьи был старший брат Микита. Работал он председателем колхоза много лет, еще до войны. Остался в партизанском отряде. Многие родственники партизанили. Всех мы даже и не знаем — одиннадцать братьев и сестер, у каждого дети. Василий Степанович знал, что погибло у него семь двоюродных братьев, в том числе любимый брат Ваня, который жил в семье Степана Архиповича до войны в Гомеле.

В партизанском отряде у Микиты Архиповича открылась язва желудка, и ему делали операцию без наркоза. Дали стакан чистого спирта и — под нож. Все прошло хорошо и зажило хорошо. Микита говорил Васе, что мы думали, что за все пережитое и проделанное во время войны (в том числе эвакуация скота на восток и партизанские дела в Белоруссии) нам будет такой почет и благодарность. «А нам как дали по рэбрам...» — выражение Микиты.

Микита навещал Степана Архиповича в Молодечно, где он жил года с 1945 до самой смерти его и Ульяны Трофимовны (в 1978 и 1979 гг.).

Микита говорил Ульяне Трофимовне: «О, ты живешь як царица!» — в коммунальной квартире с тремя соседями, общей кухней, и общей в кухне дровяной плитой, общим туалетом, но с водопроводом. Во дворе был большой сарай с дровами, бочками, всяким барахлом, топорами, пилами, мешками, рогожками и т. д. Рядом с домом был сад, который они сами разрабатывали — убирали колючую проволоку, копали, удобряли, сажали яблони, вишни, клубнику, огородину — всего соток двенадцать. В огороде была обсаженная сиренью беседка, туда было проведено радио и электричество, а позднее построили летний домик с ванной и водопроводом. Там же мать и стирала. Степан Архипович подарил Ульяне Трофимовне «полосос» (как она говорила), но пол обсаживать не давал, чтобы вещь не испортить.

Дети их, сын Вася и дочка Нина, рано устроили свои семьи и разлетелись из дома. Вася в семнадцать лет уехал учиться в Москву, в МВТУ им. Баумана (в 1936 г.), Нина, окончив пять классов, шестнадцати лет вышла замуж за 26-летнего работника МВД (в 1938 г.). С тех пор супруги Старовойтовы жили вдвоем до конца жизни. Степан Архипович в пятьдесят пять лет ушел в отставку, на пенсию по приказу № 100, обеспечивающему кроме пенсии некоторые льготы, в том числе награждение орденом Ленина за заслуги перед Родиной. Еще до войны, на учебных стрельбах, в результате неправильного отката пистолета получил ранение в левый глаз со стопроцентной потерей зрения в нем. Уйдя в отставку в звании подполковника милиции, впоследствии сделал операцию в Ленинграде, в Военно-медицинской академии по удалению больного глаза и носил протез, но часто забывал его вставлять.

Муж Нины Степановны Петр Шаходько погиб на фронте, не оставив детей. Нина несколько раз выходила замуж (пять-шесть раз) и умерла на 51-м году жизни, будучи инвалидом 1 группы — тяжелая гипертония (370/170), жестокий диабет, сердечная недостаточность. Умерла в 1973 г., похоронена на Северном кладбище Ленинграда.

Родственники из Белоруссии, приезжая к нам в Ленинград погостить на несколько дней, увозили отсюда мешками макароны, вермишель, лапшу, некоторые крупы, хотя карточек уже не было.

То же делали мои родственники из Челябинска. Они еще увозили отсюда обои, детскую коляску (когда племянница ждала ребенка) и некоторые продукты: кур, яйца, мясные полуфабрикаты... Много лет в Челябинске не было мяса. Давали талоны на мясо, но, как правило, они не отоваривались. То же я видела в Риге, — мясные магазины были просто закрыты. Зато мы из Риги везли рыбные консервы, шпроты, селедку в банках (1 кг, 3 кг), рижский трикотаж. Поражала рижская чистота в городе, транспорте.

Хочу особо отметить успехи Василия Степановича в учебе и развитии. Вспомним, в какой провинции он родился — Белоруссия, Гомельская область, Буда-Кошелевский район, деревня Морозовичи, хутор Галинки.

Мать — неграмотная. Отец — три-четыре класса образования. Он очень гордился, что из их деревни Морозовичи вышло два образованных человека: он и еще один военный человек (не знаю, в каком звании). Где он еще год или два учился после двухклассной церковно-приходской школы, не знаю. Позднее, после революции, видимо, были еще какие-то милицейские курсы. Знаю твердо, что он никогда ничего не читал, но радио слушал регулярно и делал радиогимнастику. Работал в областном управлении милиции. Писал грамотно с точки зрения орфографии. Почерк был далек от

каллиграфии, синтаксис отсутствовал. Но орфографических ошибок не допускал. Конечно, рассуждал, как велено, «от сих до сих», без самостоятельности. Пытался нам, уже взрослым, внушать дрожащим голосом, что «*знайтя* — человек человеку волк». В партию вступил во время войны, в Челябинске, когда ему уже было за пятьдесят лет. Возможно, его беспартийность уберегла его от репрессий тридцатых годов. Доверительно говорил Васе, когда тот приехал в Гомель на каникулы: «Знай, арестовали такого-то, такого-то. Я знаю, что они ни в чем не виноваты. Со мною тоже может что-нибудь случиться. Знай, я ни в чем не виноват. Знай, я на ночь кладу свой пистолет под подушку, и если за мной придут — я не сдамся, покончу с собой». Он был преданным властям человеком. Участвовал в раскулачивании многих людей. Гордился, что многие не могли раскулачивать, а он в этом перевыполнял норму. Еще и потому, что в молодости он батрачил не один год и говорил: «Я знаю, как они (кулаки) издевались и заставляли на себя работать, почти за бесплатно, только за некоторую кормежку...» Вспоминал, как мачеха жалела его: «Вот он (Архип, отец) отдал тебя на год в батраки, получил за тебя деньги, пошел в кабак, и все за одну ночь пропил, а ты теперь будешь год батрачить...» В батраках Степан ухаживал за лошадьми, — поил, кормил, купал, водил в ночное. Никогда я не замечала в нем ни малейшей привязанности ни к каким животным. Дома никогда не держали ни кошек, ни птицы, только иногда в огороде собаку для охраны. Правда, после войны держали и выкармливали кабанчиков на убой, присылали и нам в Ленинград домашние колбасы. Занималась этим, в основном, Ульяна Трофимовна, и делала эти деликатесы очень умело.

В семье у Старовойтовых был небывалый культ отца. Возводилось в квадрат его значение, его служебная значи-

мость, беспрекословное ему подчинение, полная тишина по пришествии его с работы.

В начале двадцатых годов он был избран (или назначен?) первым председателем сельсовета — из батраков, грамотный, прошел армию в столице. И действовал девиз Советской власти — заводы рабочим, земля крестьянам. Они (семья) получили какой-то земельный надел, заимели хату, корову, лошадь. Забогатели. Мать сама пахала, боронила. Гордилась: «Я была крепкая, сильная, работающая, не хуже мужиков; да меня бы и конь на утоптал, такая была крепкая». Когда метали скирду, она любила метать на самый верх, где требовалось больше силы. Василий вспоминал, как мать однажды, бороня пашню, уронила борону на ногу и пробила ногу насквозь; рассказывал, как лечили эту ногу, засыпая землей...

Однажды ночью, подперев ставни всех окон бревнами, их дом, со спящими внутри всеми членами семьи, подожгли с трех сторон с расчетом, что все сгорят заживо. Семья проснулась от треска огня. Отец как-то сумел расшатать одно окно, семья выбралась на улицу, сбежались люди, но погасить хату уже не могли. Василию было четыре года, Нине один год. Василий считает, что он этот пожар помнит. Возможно, это была чья-то месть за раскулачивание. Этого я не знаю. Собранием было постановлено построить Старовойтовым новую хату за счет общества и сообща. Хату построили очень быстро, никого не поймали и не наказали. Но факт, что это пример классовой борьбы тех лет.

Прошло время. Наступила коллективизация. Степан Архипович быстро и без жалости сдал все, что имел, в коллективное пользование и с семьей уехал в Гомель. Он понимал, что без земли крестьянину на селе не прожить. К тому же нужно было учить детей.

У Василия способности к учебе проявились рано и ярко. Он записался в школу сразу во второй класс, а потом в Го-

меле учился успешно и закончил с отличием 1-ю образцовую школу им. Коминтерна с похвальной грамотой и с правом поступления в любой вуз без вступительных экзаменов. Когда учитель спросил его: «В какой институт пойдешь поступать?», Василий спросил: «А какой у нас самый лучший?». Учитель ответил: «МВТУ им. Баумана». — «Вот туда и пойду».

Вместе с ним в МВТУ поступило из их школы еще несколько отличников, в том числе его друг Борис Циханович. Помню, что на первой же сессии двух отличников из их школы отчислили. Борис доучился два курса, а потом, в 1938 г., арестовали его отца, Григория Прокофьевича, сельского учителя (оба родителя Бориса были сельскими учителями в Гомельской области), и Борису предложили немедленно уйти из МВТУ. Он перевелся в Киевский политехнический институт, закончил его в июне 1941 г. и уходил из Киева буквально по шпалам. Когда арестовали отца Бориса, его мать осталась с тремя сыновьями, всех выучила, а каково было ей и ее трем сыновьям, предоставляю каждому догадаться самому. Отец Бориса получил десять лет, потом был реабилитирован. Нам рассказывал, что я, мол, быстро «сознался» и получил срок, а иначе неизвестно, что было бы. Но мать Бориса все-таки как-то винила отца, что в конце срока он все-таки стал хлеботоргом «там» и подкармливал там какую-то молодую «неполитическую» девицу, которая забеременела от него и была досрочно освобождена. Когда мы пытались отца оправдать, мать Бориса говорила: «Я же не сделала то же самое...». Отец Бориса всячески ухаживал за матерью, как бы искупая свою вину... В общем, тяжело испорчена была вся жизнь, а как все хорошо начиналось: оба сельские учителя, уклад сельской жизни, три сына, все учились хорошо, в старшие классы они их перевели в город (Борис жил с Васей в одной комнате квартирантом у

Старовойтовых, мать Бориса регулярно привозила молоко и другие деревенские продукты); все поступили в институты и т. д. Теперь уже родители Бориса умерли — мать в 1972 г., отец немного позднее. Уже умерли и Борис, и другой их сын Лева, и внучка Танечка.

Итак в июне 1941 г. Вася окончил МВТУ им. Баумана. 22 июня закончилась преддипломная практика, которую их группа проходила в Ленинграде. В этот день, 22 июня 1941 г., они были в Петергофе, есть фотография еще не изуродованного Самсона, еще не разбитого Екатерининского дворца...

Ночью они вернулись в Москву. В институте было решено всю группу — первый выпуск танкостроителей, без защиты дипломов (защиту отложить на потом!) направить на Ленинградский Кировский завод и с заводом эвакуировать в Челябинск. Так 3 июля 1941 года Вася оказался в Челябинске, в общежитии Кировского завода, на своем первом рабочем месте, и за пятьдесят два года работы его не менял. Менялись названия, были переводы, но работал непрерывно как бы в одном коллективе, и с переводом, реэвакуацией в 1948 г. в г. Ленинград, уже вместе со мной, Галей и вскоре (уже в Ленинграде) родившейся Олей.

Все выпускники МВТУ 1941 года (первая группа гражданских танкостроителей; до того танкостроителей, как и других военных специалистов, выпускали военные академии, из числа военнослужащих) работали всю войну и после войны по специальности. Они приобрели бесценный опыт работы по всем направлениям танкостроения, часто находясь на заводе сутками, на казарменном положении. И после войны они месяцами работали на испытаниях, на пробеггах, совершенствуя технику, изобретая новое; стали создателями нового поколения гусеничных машин, отвечающих требованиям нового послевоенного времени и задачам будущего.

Где-то в конце 1943 года меня вызвали в РК ВЛКСМ и предложили поехать в Молдавию в освобожденный город Бельцы на комсомольскую работу. Не только мне. Это была как бы шефская помощь молодой республике. Сказала об этом Василию. Он сказал: «Правильно предлагают тебе переехать в Бельцы, вот в эту белую комнату...» Наверное, думал, что я буду ломаться и кочевряжиться с переездом. Я не заставила себя долго упрашивать. Пошла к директору завода Зинаиде Петровне Белоголовой (к слову, начальник ОТК на заводе носил фамилию Белохвостов — такое вот совпадение от головы до хвоста!) и попросила: «Тут меня один замуж зовет...». Она перебила: «А парень-то хороший? Мой ответ, конечно: «Очень хороший...». Она: «Смотри. Ты ведь знаешь, что ты у меня самый любимый мастер».

На заводе из легковушек был только пикап, его она мне и дала. На нем я и перевезла свое немудреное имущество. Ключ у меня уже был. «Троица» пришла с работы, а баба уже занавесочки развешивает. Сашка так образовался: «Васька, дурак, сколько ему говорил — не найдешь другой такой Риммы. Вот теперь Молдавии испугался...». Собрал манатки и ушел к Нине, давно уже имел с ней дело. У нее была девятиметровая комната, и соседка уже уехала.

Володя переехал во второй интернат (мы жили в третьем), к другу. Но долго все ходил к нам за каким-нибудь имуществом: «я за ботинками пришел», «я за щеткой пришел», «я за сковородкой...». Потом получаю по почте на заводской адрес от него большое письмо. Смысл — никому никогда не говорил о любви. Ты — первая. Я вижу, что Вася тебя не любит, и ты никогда не будешь с ним счастлива. Он уже прошел большие огни и воды. Прошу — выходи за меня замуж. Наши с тобой дружеские отношения — мой идеал будущей семейной жизни. Согласись, что мы хорошо понимаем друг друга. Я никогда ни в чем тебя не упрекну...

Я видела, что он давно меня любит и хорошо ко мне относится. И возмущен и Васиным безразличием, и иногда хамством по отношению ко мне. Но — Пушкин: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И тем ее вернее губим средь обольстительных идей...»

Что я была должна сделать?

Я отдала Васе это письмо.

Потом они пришли с Сашкой, и Сашка пилил Володю: «Па-авеса! Не может девушку себе найти, решил чужих отбивать...». Володя молчал. И Вася молчал. И я молчала. Володя все время к нам заходил. Мы варили обеды, играли в уголки, говорили о чем угодно. Однажды он сказал: «Зачем ты это сделала? Я все равно тебя люблю и буду любить». Потом, когда я уже ждала Галю, а он продолжил свою тему, я сказала: «Разве ты не видишь, что я жду ребенка?» — «Вижу. И хочу быть отцом твоему ребенку». Не каждому мужчине или парню по плечу такая отвага.

Вася никогда меня ни к кому не ревновал. Был уверен во мне и самоуверен в себе. Я видела, что в то время Вася меня еще не любил, но, видимо, и не хотел от себя отпустить. Навсегда я благодарна Володе за такое доброе отношение ко мне в тяжелые минуты и дни моей тогдашней жизни.

Случилось так, что Васины друзья-бауманцы стали чаще собираться у нас, а не где-нибудь. То я сварганю какой-нибудь пирог, то у нас какая-нибудь техническая новинка из «Комсомольской правды» — снаряд-самолет, который немцы стали запускать из французской Бретани на Лондон и Англию (потом мы узнали, что это реактивные снаряды). Новинки такие как-то чаще попадали мне, чем Васе...

Постепенно Вася узнавал меня и проникался ко мне уважением, что ли, и благодарностью «брошенного», но не брошенного, а любимого, которому даже кое-кто понемногу завидовал. Володя на наших сборах не бывал. В парке на

лыжне познакомился с Аней — студенткой медицинского института. Они стали встречаться. Потом он уехал на полгода в Москву, защитил диплом в МВТУ, участвовал в параде физкультурников в Москве. Потом Володя с Аней создали хорошую семью, вырастили они двух парней, были у них и внуки. В своем добром отношении ко мне Володя перед семьей никак не виноват, не грешен, семьи еще ведь не было. Мы слегка переписывались, поздравлялись и т. д. Володя часто приезжал в Ленинград в командировки (они жили в Челябинске). Командировки как-то совпадали случайно с моими днями рождения, и я регулярно зимой получала красные тюльпаны, хотя в те времена редко кто дарил цветы. И заметили это скорее мои подруги, чем я. Володя стал одним из главных конструкторов Челябинского тракторного завода (танкового направления), жена его, Аня, — детский врач, стала главврачом детской туберкулезной больницы. Дважды она приезжала в Ленинград в ГИДУВ, однажды на полтора месяца и в другой раз на две недели. Оба раза жила у нас, что само собой разумелось. Мы ее принимали как родственницу. Но когда мы приехали в Челябинск на похороны моей мамы (в 1975 г.), Аня нам даже не предложила чашки чая, на неделю нас поселили в недостроенной даче без окон, без дверей, хотя они вдвоем жили в двухкомнатной квартире. Володя с нами проводил все время и попросил меня: «Скажи ты ей, что ничего у нас с тобой не было. Ревнует — безумно!». На что я ответила: «Не поздно ли спохватилась? Мы в Ленинграде уже живем лет тридцать — это раз; а второе — а почему я должна оправдываться? Ты дал ей повод ревновать, ты и оправдывайся!»

Но, вернувшись в Ленинград, я написала Ане большущее письмо. Смысл: не порти себе и Володе жизнь неоправданной ревностью! Володя ни в чем перед тобой не виноват, если и была какая-то теплота, то это еще до встречи с тобой.

А позднее он всегда гордился тобой — женой, вашей семьей... И это ты должна помнить и знать. Ответа мне дано не было. Перед восьмьюдесятью годами у Володи был инсульт с небольшим параличом, а у Ани — болезнь Паркинсона. Вася поздравлял Володю, и он спросил, как Римма. Володя очень горевал о моих четырех операциях и о моей инвалидности. Вот такой роман.

Раз уж про романы, то надо покаяться еще в одном деле. В нашей подшефной в/ч был замполит, скромный человек, лет на пять-шесть старше меня, Михаил Иванович. Он полгода выходил из окружения, исхудавший, измученный, черт знает что переживший. Направили в нашу в/ч, работал, приходил в себя, занимался в том числе всей этой шефской работой. Ну, и формированием экипажей, и отправкой эшелонов на фронт. Все издали посматривал, помалкивал. А в тот день 25-летия РККА (февраль 1943 г.) на вечере у них в в/ч спрашивает Веру Григорьевну: «Что же ты Римму-то не привела?». А она ему: «А что же ты ее не пригласил?». А просто он об этом не додумался. А вечер был с угощением, и были там только те, кого пригласил кто-нибудь из офицеров. Меня никто не приглашал. А через неделю был вечер у нас на заводе с той же темой. Там уж я крутилась во все стороны. А этот М. И. никогда не танцевал и никогда никого не приглашал. Тут он увидел, что меня пошел провожать Витя Пальгунов, солдат с увольнительной (мальчик из Ленинграда), который успел мне сказать: «Римма, я здесь только из-за тебя, больше мне ничего не надо...». Я сказала: «Ну тогда пошли».

Я же знала, где я живу. Может, его увольнительной на мою дорогу и не хватит. Не успели сделать два шага, как догоняет М. И. и говорит: «Пальгунов! Приказываю вернуться в в/ч». Витя: «У меня увольнительная...» — «Приказываю вернуться в в/ч». Витя ушел. Я откуда знаю? Может, у них

там что-нибудь внеочередное? Этот пошел меня провожать. Полдороги молчали. Вторую половину тоже, еще крепче. Месяца через три получила от Вити Пальгунова письмо, что он и еще мальчик, Роберт, из этой же в/ч, несколько месяцев учились в Челябинском танковом училище, видимо, на водителей танков или в этом духе, и сейчас в дороге на запад, и желают мне здоровья и успехов в работе. И надеются, что я буду отвечать на их письма. Но писем больше не было, а война еще была долгая впереди... А до этого их письма получила письмо от Михаила Ивановича. Писал, что он движется на запад, что «довольно сидеть в тылу» и прочее, и что рад был бы получить от меня письмецо. Я ответила, и письма пошли регулярно, обо всем на свете. То-то и то-то, и «мы перешли границу СССР с Польшей», и «мы на опушке леса, а недалеко городок N., и видно, как девушки наряжаются на конфирмацию» и т. д. Я отвечала, что «мы построили барбитуратный цех, в том числе за счет заводских субботников», что «мы отправили посылки на фронт, я вышила двенадцать кисетов и написала двенадцать хороших писем...». Он: «Придется мне писать не два письма в месяц, а двенадцать, чтобы у тебя не было времени на другие письма...» и т. д. — и так в течение трех лет. А уже 46-й год. Я уже жду Галю и думаю, как мне с ним закружиться. Ведь он меня ни о чем не спрашивал, ничего не обещал, как и я ему... Видимо, думал, что три года переписки сами по себе о чем-то говорят. Наверное, эта мысль справедлива, однако у меня Вася, и я жду ребенка... И следует об этом написать... Вот как «умно» я рассудила, чтоб не обнадеживать человека понапрасну... Пишу письмо. На заводе то, и то, и это. С мужем живем по-прежнему хорошо. Жду ребенка». Дипломат! Ответ: «Римма! Что ты наделала?! Что ты наделала?! Прикрепи ко мне хоть какой-нибудь эрзац, как я буду без твоих писем?». Прикрепила. Переписка не заладилась. Виновата.

Прости меня, мальчик Витя Пальгунов. Простите меня, Михаил Иванович.

Но я, однако, никому ничего не обещала...

Итак, в 1944 г. в январе я переехала жить к Васе. Регистрироваться мы не могли, так как он не был разведен. Я из-за этого переживала очень. Хотя регистрацию с нас никто и не спрашивал. По Васиному заявлению меня прописали в общежитии, там же я получала карточки, работала на своем химфармзаводе.

Вася очень любил свою работу ведущего конструктора, иногда что-нибудь рассказывал мне, исключая секреты. Я ему завидовала, так как работа конструктора замечательная, творческая, интересная, что-то зависит в создании новинки и от тебя лично. Вася давно уже был ведущим конструктором, потом начальником группы, начальником конструкторского бюро.

У меня на заводе тоже были какие-то подвижки. Вера Григорьевна перебрасывала меня с одной операции на другую без конца. Только освою, начиная выполнять задание на 115 %, норма ударника, — снова перебрасывает. Думаю, что за черт? Я же примерная комсомолка, тут война, а тут — еле норма! Оказалось, что она заставила меня пройти весь цикл от распаковки тюков с марлей (получали из Иваново) до упаковки и стерилизации в автоклавах готовой продукции.

Говорила потом, что не собиралась делать из меня мастера, молода еще. «Мне просто нужен был грамотный помощник» по учету сырья и т. д. А оказалось, «Римма быстро стала толковым мастером, все ее распоряжения по цеху были основательны и правильны». И вот проводит собрание и говорит о роли мастера в цехе, о дисциплине, о должном уважении к мастеру. «Вот скоро у вас будет молодой, очень молодой мастер, извольте слушаться и выполнять все распоряжения. За проходной потом — что угодно, а в цехе чтоб было, как надо!»

Все начинают гадать — кто же это будет молодой мастер? Я догадываюсь, что речь идет обо мне, а многие думают, что это скорее всего будет ее, Веры Григорьевны, племянница, которая моложе меня и работает в цехе уже пару лет.

У нас пересмена. Выходим в ночь. Вера Григорьевна вызывает меня в кабинет и говорит: «В ночь выходишь мастером. Скидок на молодость не даю. Все должно быть как положено».

В ночь выхожу мастером. Распределяю задания, ставлю работников. «А чо это ты распоряжаешься?» — «Вера Григорьевна приказала работать за мастера». — «Тебе?!» — «Мне». Никогда не было случая непослушания или невыполнения распоряжения, или каких-то отговорок. Наоборот, благодаря моей справедливости и вежливости началось массовое желание перейти в «в Риммину смену». Однажды Вера Григорьевна явилась в цех в два часа ночи, видно, решила посмотреть, каким тут медом у Риммы мазано, что это к ней просятся? А если бы мы дурака валяли, так мы бы ведь не выполняли задание. Ну, пришла. Все работают, Римма сидит за столом, наряды закрывает, чин-чинарем... В первые дни моего «мастерства» было так: вижу, брак гонит кто-нибудь, стесняюсь сказать, они старше меня, работают давно. Смена уходит, я остаюсь брак переделывать. Вера Григорьевна поняла. Посмотрела, посмотрела и говорит: «Это до каких пор ты за них будешь брак переделывать? Нужно заставлять их самих!». Стала заставлять.

Однажды вижу, в ночную смену стоят у меня два бинтоматальных станка. Где это у меня Клава и Нюра? В раздевалке на каменном полу стонет, охает, катается по полу Клава. Нюра за ней ухаживает. «Что это вы?» — «Ничего, Римма, у Клавы живот болит, мы сейчас...». Я пошла на проходную, там телефон, вызвала скорую помощь, приехали — что у вас? Клава говорит: «Да все нормально, не беспокойтесь.

Это я редьки многовато съела, сейчас пройдет!». В конце смены мне говорит: «Ну, спасибо тебе за скорую...». Это она, оказывается, делала выкидыш, а ведь это дело подсудное и запретное, а я-то откуда это все знать должна?! Видно, в сменные мастера надо ставить людей постарше, поопытнее... Рассказывала она потом подругам, да и я услышала, что на кусок хлеба насыпала она один грамм марганцовки и сожрала это все, идя на смену — вот и выкидыш.

На заводе, кроме нормы, было еще сменное задание. Например, на бинтоматальной машине норма в смену 800 витков, а задание 1200. А Клава успела сделать всего штук 600. Тут все четыре бинтоматалки стали работать на Клаву и сделали ей эти самые 1200 витков. Все мы выполнили, никто никому ничего не сказал.

Так как Вера Григорьевна была председателем месткома, в цехе у нас хранился баян, и работала у нас девчонка Кларка, примерно моя ровесница и отличная баянистка. Работать в ночь с 20.00 до 8.00 утра довольно тяжело, особенно под утро, часов с трех ночи. Столовая в ночь не работала, никаких чаев у нас не было. Немудреный перекус, кто что принес с собой — пару картошин в мундирах или пару лепешек каких-нибудь (у меня — ничего), все успевали слопать между делом, не дожидаясь обеденного перерыва. А в три часа ночи я объявляла перерыв, здоровенные наши девки хватали меня в охапку, тащили по всему цеху и вываливались сами — скорей спать часок! Для этого у них были приготовлены местечки — кто на рогоже из-под тюка марли, кто на ящике из-под витков, кто на упаковочной бумаге. Все раскладывались вмиг и вмиг засыпали. Я не ложилась никогда: я знала, что если я задряхну — не добудишься (18—19 лет, ночь и под утро!). Но без десяти минут четыре часа (перерыв с трех до четырех) я поднимала Кларку, она растягивала баян на побудку, минут пятнадцать

мы плясали, притопывали, подпевали и, взбодренные, принимались за работу до восьми часов утра. Все «спальные» места мгновенно убирались как ни в чем не бывало. А эта встряска, сама видела и чувствовала, как нужна была всем, и все были довольны, улыбались и вкалывали. Я знаю, что еще нравилось смене в мастерской: я сама закрывала наряды на обе смены лучше всякой бухгалтерии. Разные работы оплачиваются по-разному: меньше и больше, я регулировала эти работы — ты неделю была на высокооплачиваемой работе, теперь дай другому. У меня не было любимчиков: все равны, и все это знали. А когда я заметила, что бухгалтерия подвирает в вычетах (например, налог на бездетность, а девке нет восемнадцати лет, или военный налог, а муж на войне), то мне надоело ходить в бухгалтерию и исправлять это. И я стала сама составлять ведомость по зарплате на весь цех, на все восемьдесят человек — и зарплату, и вычеты. Я это делала из лучших побуждений, чтобы не было ошибок. Тем более что наряды я закрывала сама на весь цех, а мне стали платить рубль за каждого человека. Это прибавляло к моему окладу (800 руб. в месяц) еще 180 рублей. А главное — люди заметили, что в начислениях и вычетах не стало ошибок. А еще — я никогда ни на кого не «накапала»: кто опоздал (за двадцать минут опоздания уже судили), кто брак допустил и т. д. Не будет нескромным сказать, что они меня любили.

Из строя часто выходили, ломались так называемые «иглы» на бинтомоторных машинах. В слесарной нашей мастерской работало несколько слесарей с броней (т. е. не должных уйти в армию, необходимых на предприятии, в тылу). Броню имели многие работники промышленных военных предприятий — сталевары, например, и другие. У нас таким слесарем «золотые руки» был Маркел Васильевич (фамилию не знаю). Он умел все. Ему, я думаю, было лет сорок, но мне казалось — пожилой. Высокий, крепкий,

крупные рыжие кольца волос, передник на нем из мешковины, спокойный, молчаливо делает свое дело — и сварку, и резку, и все что надо для любых станков и автомашин. Главное — на голове картуз, фасона революционного. Мои братья тоже носили картузы, ни в коем случае не кепки. Кепку носил наш отец, в цвет пальто. Маркел Васильевич не обращал никакого внимания на заигрывания женщин и девиц. Только когда с ним нагло заигрывали, говорил: «Охальницы! Римму-то постыдитесь!» — «А пускай привыкает, не маленькая». Он мне говорит: «Римма, в ночь-то одна за всех остаешься, некому иглы сваривать. Я тебе парня, Дмитрия, назначу. Он умеет, что надо. Только спрашивай с него как следует. А то завалится где-нибудь спать, а у вас тут простой будет...».

Как в воду глядел. Иглы ломаются, а Митьки нигде нет. Нашел местечко и задрых. Насилу отыскала. Наподдавала по затылку и пригрозила: попробуй только еще раз завалиться!.. Все он мне быстро исправил, а когда уходил задрыхнуть, мне говорил, где его искать, и все у нас пошло хорошо.

В эвакуации в Челябинске во время войны побывали люди из многих городов — Харьков, Сталинград, Ленинград, Рига... Несколько человек из Риги работало у нас на заводе. Горестны были их пути к нам. Часто в чем есть, ничего не успевали взять. В нашем цехе из Риги была Марта. Она у нас работала на автоклаве, на стерилизации бинтов. С таким непонятным для нас страхом смотрела она на начальницу цеха, прямо вся съеживалась, вся униженная, никогда ни с чем к ней не обращалась, по-русски говорила плохо. Но мы с ней друг друга вполне понимали. И когда она уезжала в Ригу, подарила мне салфетку с латышским национальным орнаментом и прослезилась. Я тоже. Она спросила, можно ли ей взять несколько бинтов, чтобы показать, над чем она трудилась всю войну. Я ей собрала самые разные бинты и

сама запаковала, как мы паковали для военной приемки. Как сейчас вижу ее взволнованное лицо и полные слез глаза.

Шла реэвакуация и других рижан. Многие из них работали у нас в химической лаборатории. Еще из Риги у нас была семья Каменковичей — муж, жена и их десятилетний мальчик. Она работала в цехе, где делали коллагены. Я не знаю, что это такое. Знаю, что в это изделие шло серебро. Звали ее Мария Израилевна. Ее муж, Каменкович Михаил (отчества не помню) работал в должности инженера по технике безопасности и БРИЗу (бюро рабочего изобретательства). Ему говорят: отпустим в Ригу, только ищи себе замену. А он: «А вот подготовлю Римму». С чего ему это пришло в голову — не знаю. А директриса сразу сказала: годится. Около месяца он меня готовил, я очень боялась техники безопасности. На заводе было очень много химии, кислот, отравляющих веществ. Но он сказал директрисе, что я уже обучена и готова. И вот я два года, перед родами Гали — инженер по технике безопасности и БРИЗу.

Каменкович много рассказывал мне об их жизни в Риге до 1940 года. На рижском взморье у них была своя дача, которую они, уезжая в Челябинск, оставили на попечение своей домработнице. При освобождении Риги она им написала, что дача цела и в порядке. Конечно, все они очень рвались домой в нетерпении. Их довоенная жизнь была там совершенно другим миром, чужим и непонятным для нас. Они бывали в Италии, в Париже, на взморье и на теплом море. Мальчик изучал (и отчасти уже знал) английский язык. Каменковичи были инженерами-химиками и работали на парфюмерном производстве. Здоровья им и успехов!

Наше министерство объявило конкурс на лучшие работы по БРИЗу в части оздоровления производства. Я объявила такой же конкурс-соревнование по заводу. Предложений

почти не поступало. Привыкли, что начальник цеха сам что-то предлагает — по улучшению, по оздоровлению и т. д. Пошла по цехам, выспрашивала, высматривала — это когда сделали, а это как было раньше и как теперь. Начальники цехов отмахивались — мол, ерунда, мелочь; ну, сделали, ну, лучше стало. Я их стала убеждать — давайте оформим на такую-то (многодетную), пусть получит 100 рублей, а цеху зачтется, а то вроде вы не участвуете в этом соревновании. В общем, насобирала, и мы заняли первое место по министерству с премиями — мне, главному инженеру (по месячному окладу) и двум цехам, у которых были не только рац. предложения, но и два технических усовершенствования. Это были, вероятно, первые два месяца моей новой работы. На совещаниях пошли разговоры — гляди, мы и не знали, что у нас такая служба есть — БРИЗ!

Как уже писала, очень опасалась каких-нибудь несчастий по технике безопасности. Каменкович научил: идет человек на опасные работы — проинструктировать по всем правилам и заставить расписаться, что все знает, нарушать не будет. Даже был специальный журнал — «Опасные моменты». Я инструктирую, они расписываются и всю нарушают, как им удобно. «Во! Стану я твоей кислоты бояться! Как бы не так...». И цапает голыми руками 25-литровый баллон с соляной кислотой, водружает себе на пузо и тащит, куда ей надо. Однажды: «Римма! Отвернись-ка, я тут руки мочой обмою...». На голые руки попала кислота, на коже тут же — кровавая дыра; задирает подол, писает на руки... «Порядок! Не пиши никуда. Еще чего... Это мне на память о твоих инструкциях...». Я должна сообщать о несчастном случае. Но это — пятно на завод. Показываю ей свой кулак, она цапает меня в охалку, как младенца, покачивает и поет песенку... Здоровенная, высокая, работающая девка, добродушная, не семейная, та же Таисья из нашего цеха, теперь

работает в службе главного инженера. Про событие, кроме нас с ней, никто не знает.

Главный инженер был нам еще в 1942 г. прислан из Москвы. У нас шло строительство и перестройка производства, вот прислали специалиста. Он ко мне нормально относился, слегка критически — молодая для всяких таких повышений. Но вот я на самом деле заработала его критику. Справедливо.

Давно у нас с Васей уже была любовь. Он уже часто гордился мною перед товарищами, любил, чтобы я спела, хвастался, как я рассуждаю о событиях, в курсе побед, политична. А тут еще новая работа — то да се.

И вот — взят Берлин! Вот Жуков там развернулся вволю. Победа уже носилась в воздухе. Мы все ждали с часу на час выступления Сталина. В ночь с 8 на 9 мая мы не спали. Ждали. И вот в двенадцать часов ночи (по Москве), а в Челябинске это два часа ночи — по радио выступление Сталина. Победа!

Как всегда, выступление Сталина не было длинным. Было четким, емким, не зря потом его выступления изучались, цитировались, учиться бы некоторым нашим вождам его выступлениям!

9-го — нерабочий день. Стихийная многолюдная демонстрация! Такой солнечный день! Народ, и стар, и млад, все высыпали на улицу и вдоль улицы, все сияют, все радуются и ликуют, и вот идет многотысячный Кировский завод в Челябинске, и я с ними, с Васей, с конструкторами... Уже было и обсуждалось предложение переименовать Челябинск в Танкоград.

А на фармзавод прибежали все заводчане и их родичи, и там в воздухе: «Где Римма? Где Римма?» — а я ведь комсомольский секретарь, семьдесят комсомольцев, и вообще личность известная... А я — с Васей...

10 мая, как вышли на работу, главный инженер меня вызвал и молча взглядом спросил — как это понимать? Я говорю, что была на демонстрации, но не с нашим заводом. Он сказал, что это недомыслие, и, конечно, был прав. Я, дубина, сияла, ликовала, но о заводе и не подумала.

Два последние года моей работы на химфармзаводе ничем ярким не отличались. Работала. Изредка дежурила в госпитале. У нас сменилась подшефная в/ч, поближе к нашему заводу, а танковые бригады давно уже размещались ближе к фронту — где — не знаю, военная тайна. Самодеятельность кончилась, снова был волейбол. Мы сделали во дворе завода волейбольную площадку, пулялись. Несколько лет я была членом Пленума райкома комсомола. Вася стал году в 1946-м секретарем Горкома комсомола, работали там некоторые бывшие мои соученики — Клава Петрова, Вовка Лапин, бывший секретарь нашего райкома комсомола Люся Валеева. Вовка сказал: «Мы думали, что Римма выйдет замуж за генерала какого-нибудь, а она — за Василия...». Разочаровала я, видно, моих товарищей.

И вот я жду ребенка. Тогда до «выхода в свет» не угадывали, мальчик или девочка. Вася хотел сына, Александра Васильевича, как Суворов. Я хотела «ребенка», вот и все. Ходила трудно, в смысле величины пуза. У мамы рождались все дети крупные — Женька, например, был при рождении 4,5 кг. Я родилась дома, а не в больнице, вес мой никогда не назывался, не знаю. И вот к вечеру, 16 мая, начало меня прихватывать как следует. А мы на карточки получили Василию две пары нитяных носков белого цвета из простых ниток. Кто же будет носить белые носки зимой? Такой моды никогда не бывало! И стала я их красить в черный цвет, на электроплитке, конечно. Вася пришел с работы: «Как ты тут?» — «Плоховато», — говорю. — «Может, в больницу поедем?» — «Нет пока. Вот носки покрашу». Вася лег спать

и быстро уснул. Я полежу да к плитке, полежу да к плитке. А прихватывает все чаще, все больней. Наконец, говорю: «Не могу больше. Поехали». А времени — три часа ночи. Он говорит: «Да как же я тебя повезу?» Позвонил дежурному по заводу: «Жена рождает...» — «Жди! Что-нибудь пришло». Присылает такую разбитую колымагу, вроде автобуса, все трещит, колыхается, дергается. А ехать в роддом (на плановый поселок) с поворотами остановок пять. Приехали. Осматривают: «Четко слышу два сердцебиения. Двойня. Или один очень крупный мальчик...». Дурища не думает, как двоих рожать, как двоих растить. Дурища думает: «Ай, как же Вася? Ведь у меня получен только один комплект приданого по разрешению роддома, а ведь надо два!»

Рожаю, стараюсь. Акушерка все командовала: «Не тужьтесь, не тужьтесь, а то разрывы будут». А потом у меня кончились потуги. И я вижу, что она на спиртовке обжигает щипцы. Я поняла, что хочет тащить щипцами... Ору: «Нет! Буду рожать!» И вот родилась моя девчоночка и закричала как надо. И как сейчас вижу крепкую спинку, черноволосую голову, слышу хриплый голос, вижу точные Васькины пятки... Надо мной еще что-то хлопочут. «Ну, за такую девочку не обидно и разрывы перетерпеть». Разрывы большие. Галю уносят. Швы зашивают, как на коленке, без обезболивания, но слышу только колючие уколы иголки. Кормить приносят только через сутки. А теперь в окно вижу большую ветвистую березу с сережками, мощную, сильную... Жить бы ей да жить...

17 мая 1946 г. 11 час. 30 мин. утра. Вес Гали — 4 кг 100 г. В это время было много недоношенных детей, много детей с послеродовой желтухой — результат истощения и нездоровья матерей: четыре года войны, голодовок, неустроенности и нервных срывов. У меня вес был 49 кг, и тоже четыре года войны, недоедания, тяжелых нагрузок. За год до рождения

Гали еще был тяжелый домашний выкидыш (сын) с общим заражением крови. Что мог дать Гале мой организм — изможденный, изнуренный... Однако доченька родилась крепенькая, крупная, бесконечно дорогая, родная.

Находясь в декрете, нашла я ей на руках распашонок, навывивала крестом разных бабочек и ласточек на нагрудничках. Машины швейной у нас не было, и шила я на руках. Старшие женщины одобряли — ручной шов мягче, лучше для новорожденного. Получив деньги за декретный отпуск, купили мы на барахолке верхнюю часть швейной машинки «Зингер», и жила она у меня тридцать с гаком лет. А когда Галя вышла замуж и отделилась от нас, «Зингер» уехал с ней и даже переехал в Москву.

Грудь у неопытной мамы не была обработана как надо, на сосках пошли кровоточащие трещины (больно!), в роддоме их стали мазать пенициллиновой мазью. А Галя — не будь дурна! — не стала мазаную грудь брать в рот. Беда! Молока полно, а ребенок не ест, не берет в рот. Сцеживаю кое-как и кормлю с ложечки. А ведь это типичное не то! Моя мама купила на барахолке грудотсос, передала мне в форточку, сцеживаю тайком (медицина не разрешает), кормлю. Василий приспособился залезать на какую-то трубу и видеть дочку в окно (барак одноэтажный). Увидел, что Галя плачет. Диктует сестрам: «Она голодная. Она есть хочет. Дайте ей!». Чтобы отвязаться от папаши, сестры дают ребенку пару ложечек сцеженного молока, неизвестно чьего. Сцеживать молоко нас заставляли регулярно — это нужно для груди, во-первых, и, во-вторых, у многих мам вовсе не было молока, сцеженное молоко нужно было их детям.

Пришли мы домой, в свое общежитие. Не налюбуюсь на дочку. Ни коляски, ни кровати у нас не было. Была плоская широкая мелкая плетеная корзина из под белья, с двумя ручками. В нее я положила подушку, пеленку, клеен-

ку, поставила «сооружение» на стол — это и стало первой Галиной постелькой. Недели через две отец добыл где-то коляску на двух больших колесах — плетеная, с матрацем. В ней Галя спала почти до года. Потом получили по талону деревянную кроватку, без качалки. Спала в ней Галя до отъезда из Челябинска в Ленинград (2 мая 1948 г.).

Однажды, подходя к ночному кормлению (24 часа), я дала ей грудь, и она ее с жадностью взяла и стала сильно и жадно сосать. Радость беспредельная! Я разбудила отца — смотри! Мы чуть не заорали вместе. Так я ее по часам кормила до года. Прикармливать начала примерно в пять месяцев. Мама сказала: «Пора. Смотри, девочка большая, крепкая, ей уже мало одного твоего молока». Мама работала, после работы через день приезжала к нам купать Галю. Я приносила из титана в подвале ведро кипятка, разводили его как надо, и дело шло. Конечно, мама несколько раз показала, как и что, а потом я управлялась сама, Вася в этом не участвовал. Уже и мы, и Саша Авдеев (уже вам известный) с Ниной переехали из третьего интерната во второй. Жили мы в одном коридоре, напротив друг друга. В феврале 1946 г. Нина родила мальчика Вову, меньше трех кг. Молока у Нины не было с первого дня, не знаю причины. Так что Авдеевы ждали нашего прихода в надежде на мое молоко, и не ошиблись. Я кормила по часам. Из одной груди я кормила Галю, а из второй сцеживала для Вовки. Он был чистокровный искусственник. Им что-то давали в детской молочной кухне. Нина хотела, чтобы я давала Вовке вторую грудь, но я не могла, не давала ни разу, только сцеженное. Кормила месяца три, по шесть-семь раз в день, потом уже Гале требовалось молока больше. Все равно для Вовки это было очень важно. Иногда вместо Нины с Вовкой приходил Сашка. Ждал кормления, ворчал: «Эх ты, Вовка, куриная головка... У Васьки вон

какая девка... Вот подрастет, как поддаст тебе, не будешь знать, куда лететь...»

Гале не было и двух лет, когда мы уехали в Ленинград. Авдеевы вскоре получили квартиру на ЧТЗ, на том же седьмом участке, где и наше общежитие. Детей у них больше не было. Володя Михайлов привозил нам от них приветы, и мы им через него тоже кланялись, но связи настоящей у нас не было.

Развивалась доченька отлично. Рано начала говорить, рано появилось и свое выражение к каким-то делам и событиям. В полтора года она знала, что она «Гая Войтата», что ей «полтятся годика». Вася в то время не каждый день брился и любил пощекотать меня своей щетиной. Я сердилась и говорила: «Иди ты, небритая морда!». Рядом жили соседи постарше нас, у них не было детей, и Наум (муж) очень любил Галю, брал всегда ее на руки и разговаривал с ней. Однажды пощекотал ее своей щетиной. Галя шлепнула его по лицу и сказала: «Ди! Небьитиня мойда!». Часто мы встречали отца с работы, и по дороге Галя ему рассказывала о всех событиях (с моим переводом). Когда в декабре 1947 г. отменили карточки и открыли обычные магазины, сразу образовались очереди (как всегда!). Пришла соседка и комментировала: «Ну, карточки отменили, а не разживешься. Хлеб, крупа, все дорого...». Галя возбужденно докладывает отцу: «Сеп (хлеб), купа, деего». Ей полтора года. Когда, ближе к Галиным двум годам, мы побывали у мамы, где во дворе были куры, козы, еще какая-то живность (дом 8-квартирный), Галя сказала: «Песюсек казал — кну-ку!..» Так услышала она «ку-ка-ре-ку». Туфельки назывались «тюсельки».

Когда я звонила маме на работу, просила: «Попросите, пожалуйста Овчинникову (маму)», потом мама разговаривала с Галей. Галя говорит: «Баба! Ты Овчинникова?». Это она сообразила, когда ей не было двух лет. Утверждаю, что

все это было еще в Челябинске, а в Ленинград мы ее привезли за две недели до ее двухлетия (2 мая 1948 г.). «Баба! Испеки мне зайчиков!» Мама из теста вырезала зайчика в профиль, с изюминой вместо глаза. Галя всегда его съедала целиком.

В дороге в поезде, когда мы ехали в Ленинград, Галя впервые четко сказала «ррр» в слове «вытррру». До этого «р» и «л» иногда пошаливали. Но к двум годам от меня она уже знала наизусть множество стихотворений, все, что знала я от мамы, — Барто, Михалкова и другие. В трамвае, по дороге от Московского вокзала до Троицкого поля (у завода «Большевик»), отец держал ее на руках, и она сыпала всю дорогу, развлекая себя и вагон. Меня с семимесячным пузом посадили, а молодого отца с ребенком на руках — нет. Как сейчас вижу — она была довольно длиненькая, отец ее держит, она свое сыплет, отец польщен вниманием всего вагона, Галя — естественно — на внимание ноль внимания.

Завод дал нам комнату в коммунальной квартире у завода «Большевик», почти у села Рыбацкого. Все говорили: в рубашке родился! Комната послеблокадная, почти без пола, стены в выбоинах. Вася был прописан в общежитии с января 1948 г., но жил у братьев Романовых, Михаила и Николая, очень друживших между собой и живущих в одной квартире с матерью где-то на Коломенской улице. Всю войну они жили в Челябинске. Николай, кроме того, очень дружил со мной и был у нас с Васей на свадьбе. Конечно, получить комнату в Ленинграде в 1948 г., не живя в городе ранее, — это было сказочно! Официально — распределение МВТУ на Кировский завод, эвакуация, реэвакуация через министерство, семь лет работы по специальности и награды военного времени — все это так, но все равно большое везение. Соседи через лестничную площадку говорят мне: «Смотрим, молодой парень ремонтирует, красит, жену ждет.

Ну, думаем, какую королеву привезет? Смотрим: является с таким пузом... Ай да королева!» Соседи по квартире говорят: «Одной дочке двух лет нет, вторая на носу... Прощай, наш покой...». В квартире уже было четверо детей: 9, 12, 14 и 16 лет. Соседи наши блокадники, пережившие войну в Ленинграде... Много я слышала их живых рассказов о тех временах. Один сосед погиб в войну, оставил соседке двух сыновей, Юру и Леву; второй был ранен в ногу, прихрамывал. Вдова-соседка, мать Юры и Левы, вышла замуж за некоего Сашу, шофера, моложе ее, невзлюбившего пасынков, и пришлось нам их опекать.

На «подъемные», выдаваемые при реэвакуации, купили мы себе мебельный гарнитур: никелированную с панцирной сеткой кровать, оттоманку, стол, шесть стульев, деревянную кроватку Гале (а после рождения Оли — Оле, а Галя перешла спать на оттоманку), шкаф, кухонный столик, ватное полуторное одеяло, четыре тарелки, четыре чашки, четыре ложки, две кастрюли, примус, электроплитку. Детям отстегала одеялки сама. С постельным бельем, полотенцами и т. д. был полный атас, все чего-то перекраивала, передушивала... Пододеяльник был один на пуговках. Утром стирала, до ночи обязан был высохнуть.

Соседи — четыре семьи. В квартире четыре комнаты, кухня, туалет. На четыре семьи в послеблокадной кухне одна маленькая раковина довоенная, чугунная, на все — умывание, бритье, стирку, варку, мойку, купание моих детей...

Конечно, наше поколение — стальное!

Вася уходил на работу первый. Ему от Рыбацкого до Кировского завода надо было ехать два часа в один конец двумя трамваями: № 7 до Московского вокзала, там пересадка на № 13 до ЛКЗ. Минут на двадцать дорога занимала бы меньше, если бы ехал автобусами (тоже с пересадкой), но автобусом мы пользоваться не могли — дорого, тогда

плата бралась в зависимости от количества остановок, а нас на одну его зарплату — четверо, и еще алименты. Цены на все были очень высоки. Многие продукты были дефицитом. Особенно для меня был заметен дефицит на сахар и на картошку. Всегда надо было постоять в очереди, и давали эти продукты с ограничением: сахар — один кг в руки, картошка — пять или десять кг в руки, так что запастись было трудно. В квартире работали все, кроме меня и детей. Раковину никто никогда не трогал, пока Вася не умоется и не побреется. Потом — сосед Саша. Потом — все остальные, твердо зная, что всем надо! Я вставала без пятнадцати шесть утра, готовила Васе кашу и чай на плитке в комнате. В шесть часов будила Васю, в шесть пятнадцать он убегал. Опаздывать никогда было нельзя — подсудное дело, с вычетами из зарплаты. А можно было схлопотать и внеурочные работы, вроде уборки улиц, да и стыдобеще.

Галя знала свой адрес: «Тлоицкое Поле, дом 7, квайтира 2015 (215, но она говорила двадцать пятнадцать)». Она — Гая Войтата... Во дворе у нас был рынок, продовольственный и вещевой. Туда я и ходила с двумя своими ребятками. На левой руке у меня грудная Оля, в правой руке авоська с картошкой, за авоську держится двухгодовалая Галя. Плетемся мы на пятый этаж без лифта, не торопясь... Соседи, убегая на работу, оставляют мне наказы для своих семей: Толька придет — пусть вынесет ведро; Муся придет — пусть разогреет суп, пусть обедают; Юра и Лева пусть сварят себе вот эту картошку (приготовлена кастрюля с картошкой в мундире); Саша придет — пусть сварит себе яйца (приготовлена кастрюлька, в ней пять яиц). Вечером, когда придут все с работы, я на кухне уже не толкусь, все сделано, сварено, ждем Васю.

Вася приходит, перецелует нас, выспросит новости, подбрасывает Галю над большой кроватью под потолок, приговаривает: «Яблок, груша, сам Петруша...». Галя это

быстро усвоила, и как только отец приходит, сразу глазенки лукавые, руки протягивает к нему: «Ам Петутя...» (Сам Петруша).

В воскресенье обязательно идем гулять на Куракину дачу (большой барский парк с бывшими прудами и разбитыми усадьбами). Говорили, что здесь, далеко за городом, была когда-то дача князя Куракина. У Льва Толстого в «Воине и мире» много сказано об этой семье.

Когда Оля побежала ножками, кроме Куракиной дачи стали мы еще ходить на стадион завода «Большевик» на берегу Невы, которая в этих местах довольно широка и полноводна. Оля уставала быстрее всех, забегала вперед, протягивала ручки к отцу, закрывала ему дорогу и говорила: «На кутьки! (на ручки). Отец нес ее какое-то время, потом спускал на землю, и она семеняла быстро, успевая и цветочки разглядеть, и бабочек, и шмелей и т. д.

Придя из школы, все соседские дети приходили ко мне делать уроки. Все мы с ними разбирали (возраст разный, учатся в разных классах), выполняли. А однажды пришла незнакомая девочка со второго этажа и сказала: «У меня задачка не получается, я спросила маму, а она сказала — пойди к тете Римме». Так стала к нам эта девочка Валя приходиться два раза в неделю. Третий класс, дроби. Гале иногда хотелось поиграть с Юрой и Левой. Она шла к их дверям и звала: «Майсики, а майсики?». Приходили и играли Галиными игрушками, сооруженными мною самой, — мишка, белка, кукла, не помню имени. Покупных игрушек долго не было у нас. Вдруг привозят мне на Троицкое Поле Таню Левашову — в садике карантин из-за какой-то болезни. Нина (младшая) тогда у них жила в Киеве с дедушкой, бабушкой и бабушкиными двумя сестрами. Я боялась, что карантин скажется на моих детях, но меня никто не спрашивал: Римма не работает, а чего ей не взять третьего ребенка?

А если повспоминать сейчас, какую уйму работы я переделывала — это ужас какой-то! Как я успевала? И еще чтобы в воскресенье обязательно гулять и Васе отдохнуть.

В выходной Женя и Виктор приезжали за Таней, я готовила обед на всех шестерых человек, без мудреностей каких-нибудь, а все же... Виктор и Василий работали вместе и подружались. Иногда Вася приходил позднее обычного. Я жду. «Где ты был?» — «Да вот с Левашовым зашли по пути домой посмотреть Александро-Невскую лавру...» Понимаю, что надо, что интересно. Но Вася не представлял, каково мне.

Мы жили на пятом этаже. Комната — двадцать квадратных метров. Прямо под окном высокое, очень голубое небо, какое-то высокое и бесконечное, ничем не заполненное — окраина. А в углу окна ласточка свила гнездо, нас не пугалась. И вывелись в гнезде у них детки — наверное, четверо. И вот родители сновали быстро туда-сюда с мушками, мошками в клюве, кормили своих ненаглядных. А в коридоре в углу были прогрызены две большие дыры, прикрытые ящиком. Соседка Поля завела кошку. Она из этих дыр ловила здоровенных крысищ, чуть меньше кошки. Кошка хватается крысу за шкирятник, еле ее держит, крыса вырывается, вопит благим матом, а из горла у нее идет кровь. Потом кошка отгрызает крысе голову, выбрасывает ее, а саму крысу тащит к Полине под кровать и всю съедает, вместе с хвостом. Жуть! Ведь это в квартире, внутри. А у меня же дети! Однажды крыса вылезла, видимо, в поисках пищи, и уперлась на кухню. Даша (еще соседка) загнала ее в большой ящик, надела на себя валенки и залила крысу старой масляной краской. Нас всех выгнала из кухни по домам, а крысу как-то забила. Это уже год 1949-й, пятый год после войны. В уборной у нас еще не работал водопровод, сливали из ведра с водой. Квартуполномоченной мы

назначили Нюру (Анна Гавриловна Балинова, мать Муси и Толи). Она была очень распорядительная и справедливая женщина. Распоряжения ее были толковы. Вот наша очередь убирать кухню и общие места. Нюра своему 15-летнему сыну: «Толька! Вынеси ведро». Мне неловко: «Нюра! Сейчас Вася придет, вынесет». — «Ничего этому шалопаю (Тольке) не сделается. Что встал? Неси!».

Или выходит на кухню; семь часов вечера: «Ну, вот что: к восьми часам чтоб все управились, освободили кухню, Римма детей будет купать!». Сама бы я дожидалась, пока освободят, а уж когда освободят, это — как управятся.

Мы там прожили два года — с мая 1948 по конец 1950 г. Навсегда благодарна соседям за доброе к нам отношение. Без них мне было бы во много раз тяжелее управляться.

Когда я еще ждала Олю, помню, я была в квартире одна с Галей. Меня начало как следует прихватывать. Пришла Даша с работы. Поела, нарядилась в свой выходной костюм. «Ты как себя чувствуешь? Что-то на тебе лица нет...» — «Да, неважно, Даша, наверное, сегодня буду рожать...» — «Так давай скорую вызову?» А дурища ей: «Нет, Даша, я Васю подожду...» Потом думаю: странная эта Даша! Нарядилась, в гости собралась, а потом в выходном костюме улеглась на диван и дверь в коридор открыла, смотрит. Пошла я в комнату, меня хватануло, я оперлась на стол, на угол, а из меня воды прорвало... «Даша! Вызывай скорую!» Даша — бегом, а я еще взяла тряпку пол вытирать. А тут Поля пришла, выхватила у меня тряпку. А Галя: «Ай-яй-яй! Как тебе не стыдно! Написала в штаны!..»

Скорая пришла моментально. Я спускаюсь с Дашей по лестнице, а навстречу мне Васенька. Он и повез меня рожать.

Родила я Оленьку в 10.30 вечера. Лохматенькая. Рыженькая. 3 кг 900 г без разрывов. Запеленали ее и положили на камин, под абжур. Акушерка сказала: «А, не буду

отправлять ее куда. В шесть утра буду сдавать смену, тогда и передам». Я лежу на высокой каталке. Вижу своего ребенка. Спит под лампой. Тепло ей. Спокойненько спит, не ворочается, не плачет, не кричит. Кормить потом уже в палату принесут, а два пальчика у подбородка всегда высвобождены, просятся наружу.

Через неделю забрали нас домой.

Галя спала, когда мы тихонечко вошли. Стала я Олю перепеленывать, она заплакала. Тут же заплакала и Галя. Я ей стала объяснять, что какую мы ей лялечку принесли, что какая у нее теперь есть сестреночка, смотри — какие маленькие рученьки, ноженьки, что мы с Галочкой будем помогать ей расти... Даю Оле грудь. А Галя: «А мне титю...».

Когда-то мама хотела назвать меня Олей, а отец настоял на Римме, не знаю почему. Поэтому я сразу предложила назвать Олю Олей, Вася сразу согласился.

Галя все дни неотрывно смотрела на Олю, видно, усваивала. Оля уснет, я бегом на кухню — варить, стирать и т. д. Вхожу в комнату, а Галя открывает ей глаза. «Галочка! Нельзя это делать!» — «А что же я с ней разговариваю, а она на меня не смотрит...» В другой раз вхожу в комнату, а ребенок мой давится чем-то. Это Галя откусила кусок яблока и сунула ей в рот — угостила, поделилась, чем могла, от души. Успела я выдернуть угощение вовремя. Когда я шла рожать Олю, мы хотели с Галей оставить Васю. Освобождение по уходу за ребенком ему бы дали, но не оплачиваемое. Соседи сказали: «Нет, Римма. Мы с Дашей (и Нюра) поменяемся сменами и побудем с Галочкой, а Вася пусть работает нормально». Так Галя и была неделю с соседями.

Обеих дочек любила вся квартира, их дети были уже большие, а про наших говорили: нехотя любить себя заставляют. Они ведь развивались очень хорошо, просто отлично. Много знали наизусть и вообще «рассуждали» забавно. Со-

седи любили их взять к себе в комнату, заниматься с ними. Нюра, когда заводила тесто, давала им лепить из теста, что хотят, и даже пощипать его и пожевать.

Конечно, я очень уставала и постоянно недосыпала. Но вот Оле год и Гале три. И я веду их в баню. Одна — двоих. Баня от нас — четыре или пять трамвайных остановок. Нюра учит: «В первую очередь мойся сама. А то их намоешь, раскиснут, тебе будет не до мытья». В бане поставила их у окна. Мою, шпарю скамейку, три таза. Олю сажаю в таз, даю кружку, сидит, поливает на себя, довольна. Галя стоит на полу, в тазу какие-то резиновые игрушки — занята. Быстро моюсь, мою Галю, потом Олю. Простынки для вытирания завернула в клеенку, положила на окно. Олю в простынке несу на руках, Галя в простынке идет сама. Аханье в бане — одна с двумя, да такая молодая! Вокруг — с одним мама и бабушка. Мне не до них. Скорей вытираю, одеваю, идем на трамвай. В баню ходим примерно раз в месяц. Это тяжело. Но здорово.

Однажды Вася не пришел ночевать. Дескать, был с братьями Романовыми на дне рождения у их сестры или племянницы. Пришел утром в воскресенье и задрях. Я собрала детей, явилась к Романовым: «Водили Ваську вчера на день рождения?» Они переглянулись — поняли, что он на них сослался, зная, как я им доверяю. «Вот, ведите меня теперь с ребятами на салют!» Михаил еще не был женат, а у Николая была довоенного года рождения слепая от рождения дочка, на него в точности похожая. Она умерла шести лет. Переглянулись — дескать, пошли. На салюте толпы людей. Братья взяли моих детей себе на плечи и показывали им салют. Потом говорят: «Тебе же тоже ни фига не видно! Садись к нам на плечи!». Присели, подставили мне плечи, я вознеслась. Матросы какие-то говорят: «Баба, ты ошалела, что ли?». Пускай! Потом они нас проводили,

усадили в трамвай, отправили. Какое было у них объяснение с Василием, никогда не дознавалась. Но поняла, что дома тут ему никакой тревоги не было. Мы не мешали ему выспаться, только и всего.

К Новому году мы с дочками наделали вагон самодельных елочных игрушек по выкройкам из «Работницы». Купили во дворе елку, нарядили, украсили. Да и комната у нас в квартире самая большая — двадцать квадратных метров. Все пришли к нам на елку. Нюрин муж Иван Петрович играл на баяне, я пела и всех вовлекала в пение общих песен. На угощение принесли у кого что было (что-то простое). Не помню, чтобы была выпивка. Дочкам были конфеты, печенье, мандарины. Вся квартира была довольнешенька таким Новым годом. Между домами построили высоченную деревянную горку. Галя на санках спускалась с нее с великой радостью. А Олю я не решалась там катать, мала еще. А ей, конечно, очень хотелось. И вот дома съезжает на попе с оттоманки, с подушки на диван и говорит: «Тити, юськи мею...» Мы не поняли. Оля: «Ну, тити, юськи мею...». Я догадалась: «Смотрите, с горушки умею...» А я вспоминала, как в Челябинске мы, девчонки 12—13 лет, делали себе катушку. Снег насыпали в виде длинной горки, трамбовали, утаптывали, еще подсыпали, еще трамбовали, получалась длинная горка, поливали ее водой из колодца. И вот уронили ведро в колодец. Всем влетит. Из соседнего двора Эмка взялась ведро достать. Как-то цеплялась в оледенелом срубе, внутри, долезла до ведра, прицепила его на цепь: тащите! Мы ведро вытащили. А как теперь Эмку оттуда тащить? Она уж замерзла, а лезть боится навверх. Боится сорваться. А на цепи вместо ведра нам ее не поднять. Позвали какого-то чужого незнакомого мужика. Ругал он нас, ругал, правда, без мата: «Ах, вы, холеры, язви вас, что удумали. Ах вы, заразы, язвы сибирские, задрать штаны, да надрать по голой заднице...». Эмка в колодце хнычет.

Он Эмке: «Молчи, вошь гнидова!» Это он все гнусит громко, мы его боимся, и за Эмку страшно — вдруг свалится. Спустил ведро тихонько, медленно: «Держись руками за цепь! Садись на ведро верхом! Не раскачивай!». Еще ей что-то диктовал, вытянул за плечи. Девку вытянул, ведро снова упустил. Эмке наслушал: «Зараза, ведьмовка, язви тебя, бесовка...» и т. д. Ведро достал. Нас сурово оглядел: «Марш по домам!». А уже темно, часов восемь вечера. Мы убежали. Утром втихаря, не сговариваясь, собрались на катушку, кто с чем — с доской, с фанериной (никто с санками). Нам так смешно над вчерашним! Все ржем и Эмка тоже.

Что касается коммуналок, — я думаю, все так или иначе прошли через них. В Ленинграде, по крайней мере. После революции, когда обобществили «барские хоромы», как правило, большие комнаты, танцевальные залы и т. д., поделили на комнатухи и поселили пролетариат, уплотнив донельзя бывших хозяев. Резэвакуация Кировского завода тоже сразу потребовала множество жилья. Учитывая также много разбитого в войну «жилого фонда».

Получили для КБ какой-то большущий дом на улице Радищева. Острословы прозвали его «ЛКК» — лакомый кусок конструктора. Желających попасть туда было многократно больше возможного. Левашовы, например, получили в большой коммунальной квартире комнату одиннадцать квадратных метров с печным отоплением. Круглая печка занимала значительный угол в этой комнате. А Таня спала под столом. (Нина жила до самой школы в Киеве.) Так прожили они несколько лет. Все стремились как-то разменяться, улучшить свое жилье. Левашовы выменяли с доплатой свою комнатуху на большую комнату (метров двадцать пять) в коммунальной квартире, с пятью или шестью соседями, с ванной, с телефоном, на ул. Фурманова¹⁰,

¹⁰ Ныне — снова Гагаринская улица.

во дворе, почти на берегу Невы, недалеко от Литейного проспекта, с очень высокими потолками (метра четыре, наверное).

Мы тоже долго меняли, и нашелся человек, который, живя в Кировском районе, ездил на работу к заводу «Большевик». Мы свою хорошую комнату выменяли на меньшую (пятнадцать квадратных метров). На первом этаже, с одними соседями, у которых было две комнаты. Соседи были хозяйственные. В коридоре у них стоял ларь с картошкой и еще какие-то дела — корзинки, метелки, ведра, лопаты... На здоровье! В середине комнаты у нас стояла круглая железная блокадная печка, которую люди еще не решались ломать: а вдруг еще пригодится? Под нами было в подвале овощехранилище. В доме у нас пахло репой, брюквой, еще чем-то. Ножки у стола и стульев покрылись, поросли плесенью, которую я долго потом не могла смыть ничем. Дети мои в этой квартире долго болели. Это было на улице Поварухина, напротив Кировского райсовета. Теперь это улица Оборонная. Дочки заболели обе — дизентерия и коклюш. И положили их в разные больницы. Олю куда-то далеко, а ездила к ней с пересадками, а Галю — в конце улицы Оборонной, в отдельный бокс. Василий хлопотал через горздрав о переводе Оли в эту же больницу. Добился. Перевели в тот же бокс. Не менее месяца лежали они в больнице. Я у них дежурила с 9 утра до 8 вечера. Брала с собой их постирушки. Была сутками голодная, а еще надо было Васю обхаживать. Как всегда, в быту он был несамостоятелен.

Все это было посреди лета. К осени мы получили комнату двадцать четыре квадратных метра в коммунальной квартире на улице Губина, впервые с ванной. Ванну надо было топить. Там был водогрей. Я покупала где-то возле порта брикеты, прессованные из торфа и угольной пыли. На нас

и на соседей тоже. Везла домой на санках. В подвале у нас была кладовка, где я это все складывала, а оттуда брали на ванну. За брикетами ездила раза два в месяц, больше мне было не привезти.

Соседи у нас были одни — мать и дочь Котельниковы. Дочери было за пятьдесят, и она училась в институте культуры на заведующую библиотекой, работая таковой в СКБ. Я ходила в магазин утром (как всегда, дефицит и очереди), бабушка присматривала за Галей и Олей, а я покупала продукты на нас и на соседей. Галя вставала раньше Оли, была уже одета и умыта. Я наказывала ей — как Олечка проснется, обязательно одеть ее, не спускать с кровати неодетой. Галя ее одевала: лифчик, к нему резинки на пуговках, чулки, валенки, платице... но без штанов. Штаны надевать не умела, а никаких колготок в те времена и в помине не было. Потом я приходила, и шли наши обычные будни. Стирка, варка, рисованье, гулянье, чтение (я им вслух). Рисовать я их научила, как только стали держать карандаш в руках. Галя обязательно рассказывала, что она рисует: «Это мясята... (мышата). Папа, вись? (видишь?). Мама, свысь? (слышишь?)». Дальше все зачеркнуто — «нету мясята. Кошка съела...». Это, конечно, о рисунке раннем, когда Гале было года три.

Когда Гале шел пятый год, я купила ей кубики для строительства всякой всячины. А на кубиках были крупные буквы и картинки животных: С — слон, В — верблюд и т. д. Галя быстро научилась читать. И мы стали складывать из кубиков слова. К школе Галя читала вполне бегло. Тут же рядом играла Оля. С ней мы вроде бы буквы и не изучали. И вдруг отец, придя с работы, развернул газету «Правда» и сел читать, а Оля подошла с другой стороны и стала искать буквы в заголовках, что покрупней: буква «слон», буква «медведь»... Это было в ее три с небольшим года. В четыре она уже читала, хотя мы ее этим не нагружали

(умышленно). Была какая-то книжечка о появлении света в доме. «Сунул в масло фитилек, лампу первую зажег...». А до того жгли в доме лучину. Оля читает: «Мать сушила на печи пук березовых лучин...». Оля поражена: «Мама! Здесь написано ПУК!». Маленькая, мягонькая, губки «чурючком», сидит на диване, на вытянутых ножонках книжка, пальчик водит по строчкам и шепелявит: «Мать шушила на печи...»

Позднее, когда уже они учились в школе, в доме появились так называемые «книжки-малышки» — маленькие книжечки с картинками разной тематики, в размер небольшого блокнота, страниц восемь—десять. Потом они сами стали «издавать» совсем миниатюрные «книжки-малышки» с рисунками и некоторым текстом, сами их сшивали из бумаги, разрисовывали и расписывали. Помню: птички, ласточки, провода, фрукты и т. д. И всегда много знали наизусть стихов, песен, сказок. Появляется в доме человек, дети: «Мама, можно мы будем делать концерт?». И сыплют. У гостя только глаза косятся — ведь дошкольницы еще!

Когда Вася стал работать парторгом ЦК КПСС, уже во ВНИИТМ (директором был П.К. Ворошилов), РК КПСС выделил нам двухкомнатную квартиру на пр. Стачек, 16, кв. 105.

О! Это было да!

Мебель у нас была все та же. Я подобрала стол во дворе, оставленный строителями. Из нетесаных досок, ножки крестом, с него строители штукатурили стены. Спросила — можно ли? Да бери! Кому он нужен? Я его очистила, накрыла клеенкой, а длиной он был метра полтора и годился не только для всех кухонных дел, но и для глажки белья. Все это было в 1952 г.

Скоро, в 1953 г, Галя пошла в первый класс¹¹. В предыдущем 1952 г. в школе был только один первый класс, а в этом 1953-м первых классов было шесть! Такой демографический взрыв: 1945—46 гг. — вернулись отцы, вернулась надежда! И еще странное явление: в первом классе оказалось шестнадцать Галин! Откуда? Что за поветрие? Не Марии, не Наташи, а именно Галины.

Первая Галина учительница, Наталья Дмитриевна Лобзикова, говорила: «Я вынуждена первоклашек называть по фамилиям, иначе как мне их обозначить по именам?». Галя так ответственно относилась к школе — сидит, не шелохнувшись, ручки сложив на парте... Наталья Дмитриевна говорит: «Я вынуждена попросить ее протереть доску или пойти прополоскать тряпку, как-то расшевелить...». С первых дней, как только начали ставить оценки, пошли у нее пятерки. К школе Галя умела читать, писать, рисовать, считать. Ей все это хотелось, без всяких усилий. Оля тоже все это умела, но пока в меньшей степени. Через полтора-два года в районе открылась музыкальная школа, и мы повели их туда. У обеих дочерей оказался абсолютный музыкальный слух. Правда, и у меня, и у Василия тоже отличный музыкальный слух, но на абсолютность нас никогда не проверяли. Но для фортепьяно, сказали, Гале уже поздно, а вот на виолончель ее взяли с удовольствием (видно, тут у них был недобор). Оля пошла по классу фортепьяно.

На вступительных экзаменах в музыкальной школе Галя выразительно, без малейших ошибок, спела известный романс: «Средь шумного бала, случайно...» Комиссия смеялась:

¹¹ Школа № 384 на пр. Стачек, недалеко от Нарвских ворот (в плане — «серп и молот») Школы были «женские» и «мужские». В 1954 г. снова ввели совместное обучение, и Галя попала в школу № 390, за садом им. 9 января. Сейчас в этом здании находится Кировский районный суд.

«Ну, как раз для тебя...». А Олю принимали через год. По классу виолончели у Гали в музыкальной школе шли занятия шесть раз в неделю: два раза виолончель, один раз фортепьяно, теория музыки и композиция, хор и в старших классах еще и оркестр. Оля училась три раза в неделю: два раза урок фортепьяно и один раз — теория музыки¹². У Оли был очень неприветливый и внешне неприятный учитель музыки. Когда она шла два раза в год сдавать свой «отчет» в музыкальной школе, в спину ей несло: «переросток, переросток». Своего пианино у нас не было, я брала инструмент напрокат несколько лет подряд (лет восемь). Впоследствии я узнала, что все родители делали учителям музыкальной школы дорогие подарки к датам и праздникам, а мы, такие «правильные» родители, не делали этого никогда.

И вот, отучившись четыре года, Оля сказала: «Больше учиться в музыкальной школе не буду. Будете заставлять — брошусь под машину!». Погоревала я, посожалела и сняла ее из музыкальной школы. Много-много позднее, лет через сорок после этого, Оля призналась, что смертельно боялась своего учителя, и что он «нечаянно» касался рукой не только ее плечиков. Галя училась ответственно и серьезно, и лишь однажды с горечью толкнула виолончель: «Надоела мне эта дура!». А она действительно была выше Гали, и мы ведь детей своих не сопровождали в школу, все они делали сами. После того, как я сняла Олю из музыкальной школы, вскоре состоялась районная партийная конференция, на которой присутствовал Василий Степанович и директор музыкальной школы (забыла его имя). Он в перерыв расхваливал Галины успехи. Василий: «Что же вы мне все про Галю, а что же про Олю-то ни слова?» — «Как? Разве вы не знаете, что жена

¹² Еще было сольфеджио. Этот предмет считался одним из наиболее трудных, но у Гали и Оли с ним никогда не было проблем.

давно ее сняла от нас?». Вечером мне дома была вздрючка: «Я воспитываю детей, а ты только мне мешаешь!». Позднее, став взрослой, Оля очень сожалела, что бросила музыку, но на том этапе, может быть, ее действия были верными. К сожалению, я тоже не разобралась тогда, что к чему... Но все-таки какие-то основы были получены, и наши дети, возможно, несколько иначе слушали музыку, чем мы. Хотя все мы (семья) были певучие и музыкальные, много лет мы покупали абонементы в Большой и Малый залы филармонии, и нам посчастливилось слушать первые исполнения симфоний Шостаковича в его присутствии и в великолепном исполнении оркестра, выпестованного и созданного великим Евгением Мравинским, под его управлением, да и не только музыку Шостаковича. Как сейчас вижу стройную рослую его фигуру, сосредоточенное лицо, весь он строгий, величественный. В последние годы он управлял своим оркестром сидя, но оставался таким же величественным...

Когда Галя училась уже в десятом классе общей школы, я убедила ее, что теперь уже надо готовиться к поступлению в вуз, а музыкальная школа отнимает много времени и сил. Галя еще с полгода поколебалась и с большим сожалением согласилась со мной.

Росли наши дети без бабушек, без нянюшек, на собственной ответственности.

Галя пошла в третий класс, уже пионерка, одна из первых обязанностей — помогать младшим. Я работала далеко от дома — на Кутузовской набережной, в п/я морского флота, уходила из дома на час раньше, чем мои дети в школу. Оля пошла в первый класс. Не могло прийти в голову отпроситься с работы, чтобы отвести ребенка в школу. Позднее с этим стало намного свободнее, а тогда еще — нет! Даю Гале наказ — отвести Олю в школу и сдать учительнице первого класса. Галя Олю довела. Там, после лета, встретила подруг,

закрутилась, и Оля осталась одна. Перепугалась ужасно. Потом одна из родительниц увидела плачущую девочку, выспросила, какой класс, узнала, что 1«в», и говорит: «Смотри, вон табличка, читать умеешь?»

Потом получилось так, что со второго класса Оля училась во вторую смену, а Галя в первую. Уходили и приходили в разное время, как многие, мы проходили ключи на веревочке, руководство делами по телефону. Всегда я была в курсе всех уроков, всех дел, всех подруг. Учились хорошо.

Звоню Оле с работы: «Что ты делаешь, Оленька?» — «Заплетаюсь». — «А ты все скушала?» — «Да». Проходит часа три. Знаю, что ей надо собираться в школу. Звоню. «Что ты делаешь, Оленька?» — «Заплетаюсь». — «Так ты ведь уже заплеталась?» — «Это утром, а теперь перед школой». Такие хорошенькие, беленькие, золотистые косички были. А как там ребенок сам себе заплетет... Но когда шла обычная повседневная учеба — это по режиму шло. Но вот каникулы зимние. Прихожу с работы — детей дома нет. Где искать? Являются вечером, после шести. «Да где же вы были?» — «А мы были в зоопарке». — «А как вы нашли?» — «А мы взяли с собой морковки, сахар кусочками (рафинад), пошли на трамвайную остановку, спросили милиционера (на основных остановках дежурил постовой милиционер) как ехать в зоопарк, он рассказал, где сделать пересадку на трамвай № 6, и, переехав Неву, на какой остановке выходить. Морковкой мы кормили медведей, и они к нам высовывали лапы сквозь решетки, а сахаром мы кормили обезьян, и они просили еще». Это ведь в девять-десять лет.

В другой раз к нашим детям приехали Левашовы, Таня и Нина. И у нас и у них были телефоны. Дети отодвинули большой шкаф, поставили его с угла на угол. На задней стенке шкафа перекладки, они по ним залезали на верх шкафа и с высоты прыгали на диван по очереди. Господи!

Твоя воля. Как обошлось без несчастья! На зимние каникулы в морском институте мне выдали четыре билета на Новогоднюю елку в клуб моряков. Таня и Нина не знали, как туда ехать. Наши тоже впервые туда ехали, на площадь Труда. Наши сказали Левашовым: «Ждите, мы за вами заедем» (на ул. Фурманова). Заехали. Поехали в Клуб моряков. «Мы идем, а там моряки снег чистят. Мы спросили их, как найти Клуб моряков? А они говорят: девочки, вам еще рано в Клуб моряков ходить (1-й, 2-й, 3-й, 4-й класс)». Но в Клубе моряков все четверо выступали и заработали призы — книгу, мячик, не помню, что еще. Самостоятельные!

В 1958 г. мы вместе с Борисом и Инной¹³ завладели участком в коллективном саду завода «Электросила», где работал Борис. Участок был на станции Горы, 42—43 км от Ленинграда, не доезжая Мги. Выгода сплошная: общие деньги, два строителя, летом одна мама с четырьмя дочками, потом вторая. Дети опять распределялись по возрасту: 2-й, 3-й, 4-й классы. Один выходной на все. Василий и Борис взяли отпуск в мае месяце, жили во времянке там на огороде, строили фундамент, потом Иван Филиппович (сторож сада) сделал нам из горбыля и подтоварника каркас дома (по стандарту, разрешенному правлением садового кооператива), наши мужики его обивали, обтягивали рубероидом, изнутри толстым картоном, газетами, обоями, снаружи горбылем и вагонкой. Получилось строго по плану: внизу две одинаковые комнаты по шесть квадратных метров (на одно окно), одна комната проходная двенадцать квадратных метров, маленькая прихожая и веранда шесть квадратных метров. Наверху под крышей комната тоже двенадцать квадратных метров, но высота намного меньше, чем внизу.

Сначала веранда была у нас как общая столовая, мы обедали все вместе, за одним столом. Тянули спички, кому

¹³ Семья Цихановичей.

какая комната достанется. Мне хотелось, чтобы внизу. Асе и Тане хотелось получить комнату наверху. Видимо, желание было большое, и все мы вытянули, как хотелось. У нас уже была квартира на Стачек, 16, а Борис еще жил в большой коммуналке с несколькими соседями. Так что Таня и Ася с радостью получили свою комнату, хотя бы и на даче. Домик получился на два окошечка, маленький, аккуратненький, наверх шла большая лестница. Насажали мы, как предписывалось в обязательном порядке, яблони, смородину, черноплодку, малину, клубнику. Грядки под овощи тоже поделили. Галя твердо знала, что это надо делать, обрабатывала грядки поровну. И, конечно, много цветов вокруг дома. Домик у нас был угловой, одной стороной выходил в лес. Все у нас было общее: навоз, дрова, электричество, расходы. Никогда никаких трений ни в чем. Детям для работы тоже были выделены свои грядки без разговоров. Оле этого не хотелось, она делала неохотно, как бы подневольно. Сказывалась и разница в возрасте. Я на себя, конечно, брала львиную долю работы. Прожили мы на этой даче пятнадцать лет без малейших претензий друг к другу. Все вокруг удивлялись, так как рядом тоже был участок на двоих, где жили два брата и грызлись до драк, чего-то там не поделив. Во дворе мужики вырыли колодец, но воду мы там брали только на мытье и на полив. А за питьевой водой ходили с разрешения в чужой колодец. На реке Мге научились все наши дети и плавать

Со временем мы решили передать Борису веранду, чем они, естественно, были довольны. Мы считали, что наша комната внизу лучше, чем у них наверху. Кроме того, в нашей нижней комнате находилась общая печка, а им досталась лишь наша общая плита, на которой мы все готовили.

Дети наши подрастали. Галя верховодила ночными приключениями компании (Ася вспоминает, что, устроив из

простыней на палке какие-то чучела, пошли ночью пугать соседей; мы боялись, а Галя нет).

С ранних детских лет был у нас в доме пластилин, из которого дети лепили изумительные изделия. Например, пенек с годовыми кольцами, от него идет длинный корень по траве, на корне разместились два семейства малюсеньких желтеньких опят, рядом куст лесной земляники с красными ягодками, а на ягодках желтенькие мелконькие семечки; рядом коричневое дерево с зелеными листьями и ветками, а на стволе сидит дятел с желтым клювом и в красной шапочке... Все это было очень похоже, очень естественно и художественно, и проявлено было не только тщание, но и терпение.

Позднее по «Трем мушкетерам» (Галя прочла первая и привила подругам интерес) они ставили домашние спектакли с картонными фигурками и декорациями. Декорации приклеивались также пластилином, и он, естественно, ронялся на пол и был долго домашним «врагом». За все школьное время в квартире у нас собирались друзья и подруги, компании. И однажды дети встречали у нас Новый год, а мы с Василием уходили в свою компанию в соседний дом и перебивались со своими ребятами. И друзья, и подруги детей делились со мной своими горестями и радостями, иногда советовались, как и что.

Когда я приходила в школу на собрания и слышала там, как ругают, например, Колю Киселева — и такой, и сякой, ну прямо хулиган! А он хорошо рисовал, и вот нарисует карикатуру на какого-нибудь учителя и пошлет по партам — всем смех, а учитель или учительница с этим смириться не в силах. А я знала, что у Коли очень больна мама, и папа работает монтажником-электриком, постоянно в разъездах, в командировках, и Коля помогает маме и заботится о младшей сестре Кате. В подъезде на стене написано: «Кто обидит Катюку,

будет иметь дело со мной! Николай». А когда в доме у нас собиралась их компания, поиграют, попоют (Оля играет на пианино, а Юра по прозвищу Шкаф, широкоплечий, на гитаре), все разбегутся, а Коля никогда не уйдет, пока не проветрит хату, не расставит по местам все стулья, а иногда и подметет пол. Вот это я и говорила в его пользу. А тут мамы начинают вопросы: а как мой такой-то, а моя такая-то? Я говорю: «Ну, я не вправе судить, недостаточно знаю вашего или вашу...» — «А нет, скажите, а как...». И однажды спросила про сына мама Юры-Шкафа. Все они находились тогда в возрасте любви — шестнадцать-семнадцать лет. Юра пришел в их класс новичком и понравился многим девочкам. Высокий, красивый, еще певун, еще его отчим привозил ему шмотки всякие, все это могло впечатлять. Но вот девочки разглядели, что он ничего не читает, что и поговорить с ним иногда не о чем... Вот это я его маме и сказала.

В девятом классе началась любовь и у Оли с Сашей Сергеевым¹⁴. В моде были в те времена и турпоходы, и лыжи, и все это было в этой компании. Идем с родительского собрания, Колин отец объясняет Колино поведение так: «Коля любит Олю, а Оля любит Сашу, вот так у них и получается...». Колина мама говорит: «Ну почему же она любит Сашу? Ведь мой же Коля лучше!..». Я помалкиваю, и Сашина мама¹⁵ помалкивает.

К Оле классная руководительница Леонила Петровна вызывала меня не раз. Она была депутатом райсовета и видела меня там постоянно, и ей казалось, что я какая-то необыкновенная, что много знаю, все могу объяснить, провожу инструктажи с депутатами, работаю с постоянными

¹⁴ Сергеев Александр Борисович (10.11.1947 — 7.11.1977) — первый муж Оли, отец Сергея.

¹⁵ Людмила (по паспорту Мария) Степановна Сергеева (1917—1990).

комиссиями и т. д. И моя фамилия с Олиной у нее не ассоциировалась. То Оля жевала бумагу и плевала в трубочку в портреты (Оля объясняла: я не в Маркса, а в Боткина); то она всем подсказывает. «Ну, что я ей могу сказать? Я сама всю жизнь всем подсказывала...» — «Да не может быть, Римма Яковлевна!» — «Да ей богу!». Было время очередных школьных реформ — политехническое обучение, одиннадцать классов вместо десяти и приобретение специальности вместе с окончанием школы. Галя получила диплом бухгалтера промышленного предприятия — сдавала бухгалтерский учет, планирование и еще что-то. Не бесполезно, в общем, для общего развития. Самыми распространенными были рабочие специальности — токаря, слесаря и т. д., с прохождением практики на предприятиях района. Часть наших знакомых девочек пошли на специальность продавца продовольственных товаров. Оля пошла в девятый класс в школу¹⁶, где обещали девочек выучить на швей-мотористок. Девочки надеялись научиться шить для себя. Желающих было много, так как эта специальность всегда пригодится для себя и для семьи. Был отбор по лучшим оценкам за восьмилетку. Для начала стали шить блузу. И вдруг в октябре собирают учениц и родителей. Тема: Ленинграду швеи не нужны, а нужны мотальщицы-чесальщицы и что-то еще в этом роде для ткацких фабрик и других вредных производств. Девочки правильно возмутились: «А что, когда совсем недавно шел отбор и набор, городские власти не знали, кто нужен? Мы бы тогда пошли в другие школы. В мотальщицы не хотим!». Родители их тоже поддержали. Потом Оля спросила: «А нельзя ли нам учиться на машинисток-стенографисток? Мы узнали, что такой специальности обучают во «французской» школе в нашем районе». Представители властей

¹⁶ С 9 по 11 класс, школа № 506, в начале ул. Ивана Черных, у Нарвских ворот.

пошли советоваться, договариваться и сказали: можно. На машинисток с большим или меньшим успехом выучились все, а на стенографисток только несколько человек. (Впоследствии работали по этой специальности только двое.) Мальчики их класса учились на токарей, слесарей. Но никто по этим специальностям потом работать не пошел. Из Олиного класса во всяком случае.

Хрущевская оттепель породила идеи и разговоры о необходимости перестройки в комсомоле, в смысле демократизации. Идеи, вдохновившие Павку Корчагина, да и самого Островского, к 60-м годам XX века уже не так бесспорно воспринимались молодежью, надо было что-то менять. Всю зиму активные ребята и девчата рассуждали, что делать. Собирались в ДК им. Горького в помещениях кружковой работы, иногда под эгидой райкома комсомола, иногда сами. Споры были горячие, и решили создать что-то вроде коммуны. Решили летом поехать в комсомольско-молодежный трудовой лагерь при своем самоуправлении. Галю выбрали председателем совета коммуны. Был там и еще такой орган — Совет командиров отрядов. Председателем был избран Толя Загустин. Коммуна получила название Кировской, и выехали они в Кингисеппский район на сельскохозяйственные работы. Районная лагерная комиссия определила директором лагеря на летнее время директора одной из школ Кировского района Черненко Александра. Его школа профилировалась как спортивная. Он хороший человек, бывший детдомовец, депутат райсовета Кировского района, член комиссии по народному образованию. Я тогда работала в депутатской комнате исполкома, о его назначении не знала ничего. Он не вмешивался в самоуправление коммуны, но, конечно, был в лагере «государственником». Рыбачил там на речке, загорал. В лагерь поехали обе дочери и многие их подруги. Галя сказала: «Мама, ты не приезжай. У нас

будет самоуправление и все самостоятельное!» Ну как же это я не поеду посмотреть, как они там, и что у них там делается? Пошла в лагерную районную комиссию, испросила направление в лагерь. Поехал со мной и заведующий РОНО Захар Иванович Девятин, тоже с направлением от лагерной комиссии. В лагере намечался костер, как бы официальное открытие сезона. Приезжаем. Охрана. Вызывают председателя Совета командиров. Что-то где-то обсуждают. Пропускают нас в лагерь...

Палатки, Цыганский табор. В палатках кавардак. Галина моет голову в речке. Холодной водой. Длинные косы. Люди пришли с прополки, устали. Моя Оля с подружкой Зоей¹⁷, из одного дома. По всему видать — готовы отсюда без оглядки, хоть за тридевять земель. Но — нельзя! И я не могу их забрать — а как же другим!

Михаил Борщевский¹⁸ у них замполит, решено еще зимой, до лагеря. Два года отслужил в армии, на Новой Земле. Прошел там кое-чего в полярных высотах. Густящая черная шевелюра, спокойный голосок. Еще зимой на сборах пел им новую тогда замечательную песню: «Издалика долго течет река Волга...». Демонстрирует вольное поведение — самостоятельность. Кого-то при всех обнял, кого-то поцеловал. Вижу: Гале это ножом по сердцу. Вижу: попалась доченька моя. Вижу: Толя Загустин не скрывает своей влюбленности в Галю. Лагерное радио орет дурными голосами Фыркина и Пыркина¹⁹ свои лагерные новости: в 20.00 торжественный

¹⁷ Зоя Фомина (род. 01.09.1948). Кроме того, в младшем отряде были Тамара Смирнова и Валя Пикина. Мама оставила тогда Оле 10 рублей (серьезные по тем временам деньги!), а Валя их украла. Это было совершенным шоком.

¹⁸ Михаил Вениаминович Борщевский (род. 03.07.1939), впоследствии — муж Гали.

¹⁹ Это реальные фамилии.

костер по поводу открытия лагеря. Там песни, выступления, планы на будущее. С этого костра подарил мне официально два уголька Толя Загустин с напутствиями хранить в сердце комсомольскую юность свою. И долго я берегла эти угольки, до переезда в Сосновую Поляну. Уже и дочери вышли замуж, и внуки родились, и приезжал он ко мне с женой и дочкой, чтоб научила пеленать и качать... Ах, как же давно все это было! Прощай, дорогой Толенька...

У Толи рано умерла мама, и его опекала старшая сестра, которая умерла незадолго до Толиной смерти. А отец его работал на стройке и выпивал. Изредка Толя просил меня поискать отца по телефону в неблагополучных местах. Я добросовестно его искала, но не было случая, чтоб он сам не нашелся, и об этом Толя мне всегда сообщал. Словом, я к Толе относилась всегда сочувственно, по-матерински жалела его, молча, конечно. И он это чувствовал. И когда заходил к нам, я старалась его угостить чайком (впрочем, как и любого гостя). И, помню, он в ответ мне говорит: «А вы не забыли еще, что я люблю свежую заварочку?..». Помню, как тяжело перенес он гибель Гали. Вернее даже сказать, что он не перенес гибель Гали, не мог перенести. Мы встретились с ним на ее могиле. Дочка Толи так на него похожа, как будто из глаза выпала. Коммунары приходят к Гале на могилу в день рождения и в день ее гибели...

Уж повзрослело поколение,
Что носит в паспорте своем
Послевоенный год рожденья...

Я люблю их, и мне дорога их дружба ко мне, как Галин свет, как Галино тепло...

А когда осенью, после лагеря, прошла как бы отчетная конференция в районе, зав. РОНО Девятин говорит мне:

«Смотрите — у вашей дочери и этого Борщевского любовь, это заметно, имейте в виду...». Галя пылала, конечно. Уж не знаю, как Борщ. Но вот у Борща заимелась женщина, все об этом знали. Он старше Гали на семь лет.

А за Галей начал ухаживать некий Юра²⁰, старше ее на девятнадцать лет. Ей — 19, ему — 38, а мне 42. Я ей говорю, что он мне больше подходит, чем ей, с издевкой, конечно. И очень уж страшенький и странненький... Подругам она говорила, что ясно, что с Мишей у нее ничего не получится, так Юра хоть умный очень, в сравнении с ребятами-однокашниками.

У Оли с Сашей с 9-го класса пошла дружба крепкая, как и у всего их класса. Об этом уже писала.

Время шло. Позвонила я Мишане, пожаловалась на Галю в смысле ее отношений с Юрой. «Я-то тут причем?». А я: «Ага! Как у тебя насморк, так ты идешь ко мне лечиться, а как у меня беда, так ты не причем!». Через некоторое время Галя получила от Миши большое письмо, и отношения между ними возобновились. Окончив школу, Галя хотела идти учиться в университет, на философский факультет. Однако отец восстал: «Ваша философия приспособляется к правящей идеологии и обслуживает ее. А жизнь делают только технические науки и инженерные специальности²¹. Вот иди в Военмех, по моему профилю». Галя колебалась, но послушалась, пошла в Военмех и проучилась там два

²⁰ Юрий Семенович Динабург (род. 07.01.1928), бывший политзаключенный (1945—1953), отсидел восемь с половиной лет из десяти, присужденных ему в возрасте семнадцати лет, по сути, за создание школьного философского кружка.

²¹ Он называл — в шутку, конечно, — всех гуманитариев словечком «мозгоблуды». Это не означало неуважения. Просто он привык видеть результат и практическую пользу от своего труда, от своей науки.

полных курса. Успешно сдала все предметы по точным наукам — физику, сложнейшую математику, черчение, химию. По органической химии, как садится за стол, так выкладывает формулы всех продуктов. А в это время (в 1966 г.) в университете открылся психологический факультет. Галя нам заявила: «Я вас послушалась, пошла в технический вуз, чтобы глубже изучить точные науки, необходимые для философии, а теперь пойду в университет, на психологию». Я ужасно переживала, так как сама недоучка, несмотря на хорошие способности. Вот, думаю, сорвется, недоучится, а потом семья, то да се. Меня все-таки война сорвала из института, а тут — сама бросает!

Конкурс на новый факультет был громадный. К тому же двойной выпуск, в тот год одновременно заканчивали десятилетку и одиннадцатилетку, да плюс стали поступать к нам иностранные студенты. Но готовилась, сдала все четыре вступительных экзамена на пятерки, так что конкурс прошла блестяще. Сдала первую сессию. Новый номер: пойду на вечернее отделение, чтобы быстрее сдать все экзамены, а то только время на лекциях теряю. А так — подготовлюсь в Публичке и буду быстрее сдавать. Некоторое время спустя: перехожу на заочное отделение, так как профессор Харчев берет меня на работу на должность младшего научного сотрудника, а это Академия наук СССР. А то закончу университет, а потом попробуй попади на работу в Академию. В общем, закончила она университет за четыре года, то есть вместе с теми ребятами, с которыми училась в Военмехе. Диплом получила с отличием. И тут же предложение поступать в аспирантуру. Ура! Чего еще желать? Нет... «Я поработаю, чтоб хорошо определиться, чего я хочу от аспирантуры, и использовать аспирантский срок для пополнения знаний». Пошла работать на завод К. Маркса в новое тогда еще подразделение НОТ (научная организация

труда). Это нововведение прошлого года по всем предприятиям.

Весной 1968 г. Галя нас предупредила: «Будьте готовы к тому, что осенью я выйду замуж за Мишу Борщевского». Отец: «Ты все продумала? Тебе решать. Мы возражать не будем». На том и договорились.

Оля без приключения закончила школу и без приключений поступила в Горный институт, куда пошли их многие одноклассники и одноклассницы. Мальчики на геологов, а девочки — кто как, и на геологоразведку, и на экономистов. Профессия экономиста в то время не была популярна, там даже почти не было конкурса. Саша не поступал никуда. «Я еще не готов, не знаю, куда бы я хотел...». Но Олю все встречал с лекций, ревновал к какому-то Сергею. Оля осмотрелась и решила: «С чего вы взяли, что я должна быть экономистом? Не хочу и не буду...» — «А чего ты тогда пошла туда?» — «А все пошли, и я пошла...». В общем, вскоре ушла из института, пошла работать и учиться на съездовскую стенографистку. Саша после школы пошел работать в военно-морскую контору, которая занималась картографией. Он работал эхолотчиком. Предстояла экспедиция на Куршскую косу для составления морских карт залива и окрестностей. Оля решила: тоже поеду. Но для оформления в экспедицию потребовался законный брак. Я к этому относилась несерьезно и говорила Оле: «У твоего Сашки еще женилка не выросла. Подрастите оба». А Галя мне: «Мама! Ты похохатываешь, а они ведь уже заявление во дворец бракосочетания подали». Вот те на! А по ходатайству в/ч их записали без всяких очередей на 3 мая 1968 г. Узнав об этом, Галя изменила свое решение выйти замуж осенью. «Как это младшая сестра обойдет старшую — дело ли?» И решила сойтись с Мишей в апреле того же года. Вот и все пироги! Две свадьбы в одну неделю!

В то время было принято праздновать коллективно праздники на предприятиях, снимая для этого столовые, кафе, недорогие рестораны. Нам снимать что-нибудь было поздно, все давно было занято. Решили праздновать дома. Отец лежал в Военно-медицинской академии с пневмонией. Учитывая мое сопротивление, дочери отправились к нему. Папочка обрадовался, что обе вместе: «А давайте сыграем одну свадьбу сразу! Вот здорово!». Толковала ему, что гости разные, родня разная, и больно быстро ты «разыгрался» — вместе две свадьбы в одну сыграть.

В воскресенье приходят ко мне оба жениха. Сидим, пьем чай. Мишаня картинным жестом швыряет на пол газету, встает на колени, просит у меня руки дочери Галины. Обещает то да се... Встревает Сергеев: «Это я пришел сегодня просить руки Оли...». Я: «Да Саша, рано вам еще с Олей жениться, определитесь в жизни получше...». Саша развел руками в стороны: «Ну, Римма Яковлевна, ну, отложим мы это дело на год, а что мы нового друг о друге за год узнаем?». Мише я тоже толковала, что Гале надо с учебой заканчивать, Миша мне тоже толковал, что он Гале во всем поможет, что она обязательно закончит университет и что — посмотрите — еще и кандидатскую защитит и т. д. Моя сестра Рита говорит: «Да соглашайся, пока спрашивают. А то уйдут в самоволку, да поставят перед фактом — лучше будет?».

В общем, две свадьбы за неделю. А вы забыли, в каком дефиците мы жили? По всем статьям. Бросились помогать все наши друзья. Николаевы ездили в Ригу (там у Иры в Тукумсе постоянно жил брат Юрий — военврач), привезли пятикилограммовую банку селедки, готовую, кусочками, во фруктовом соусе: «На!» — «Давай!». Георгий Яковлевич Сенчаков: «Римма, у нас в столовую привезли маринованные маслята в пятикилограммовых банках...». — «Давай две банки!» — «То же — маринованные корнишончики...» — «Давай

две банки!». Никифорова: «Договорюсь в мясном магазине, дадут языки и сто штук эскалопов (200 порций)...». Мы с Васей пошли в мясной с чемоданом, иначе не знали, как донести. Языков дали 14 кг. Ну, холодцы, салаты, пирожные, еще какая-то закуска, фрукты, вино, водка, запивалки, не помню.

Выпросила у председателя Исполкома два дня отгулов. Мебель вытащили из большой комнаты прочь, танцы устроили в коридоре. В жилконторе взяла два длинных стола, четыре длинных скамейки. Уместились. Васе купила две однодневных путевки в дом отдыха на Карельском перешейке. Гуляет он там и встречает моего председателя Исполкома. Тот удивлен: «Ты что здесь делаешь? У тебя же две свадьбы!» — «А я спросил Римму, — что тебе помочь? А она говорит: лучшая твоя помощь — не мешаться мне! Езжай вот, чтобы мне за тобой здесь не ухаживать!». Председатель поражен: «Моя бы меня целиком съела за такие два дня!». И потом все расспрашивал меня, да что, да как, да как ты управилась? В те времена мне еще не было восьмидесяти!!! Еще сварганили платъишки, да кое-какое приданое: простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца, посуду и т. д. Что-то купили готовое, а вот простыни (много) шила сама. В то время появилась в продаже такая ткань: лен с хлопком, да еще и с каймой — белая, чистая, для здоровья хороша, и ширина — 150 см. Накупила, нарезала, нашила — и дочерям, и себе заодно, и служили эти простыни нам долго. А потом залатала, и поехали они на дачу, и там еще нам служили несколько лет.

Последний день жизни Гали

Прощание

20 ноября 1998 года...

За неделю до этого проклятого дня Галя была в Питере как бы накоротке. И не заходила к нам. А еще дней за десять—двенадцать — была и зашла к нам перед отъездом, повидались, поговорили, позвонили Теме, Галиному внуку и нашему правнуку. Я просила: «Что тебе, Темочка, прислать с Галей?». — «А пришли мне половичок» (из тех, что я вяжу сама). — «Так я же тебе только что присылала...». — «А пришли еще. Постарайся, чтобы в нем было побольше фиолетового...».

Стала я думать, что бы мне фиолетовое в половичок вставить. Вспомнила, что у меня есть одна вторая насыпушка из бывшего Галиного платья фиолетового. Разрезала я ее в мелкие дребезги на фиолетовые полоски для вязанья. Вспомнила, что есть у меня летнее платье с розовыми и фиолетовыми цветами, еще годное для носки, но тоже пустила его на половички. Связала половичок и отправила его с Галей Теме в Москву. А теперь, через неделю, Галя приезжала вновь. Позвонила по дороге из аэропорта: «Папа! Я хочу к вам сейчас заехать, а то опасаясь, что на обратной дороге в воскресенье (она прилетела в пятницу, 20 ноября) буду очень занята и, может быть, не успею к вам заехать...». — «Конечно, Галочка, приезжай. Всегда рады тебя видеть...». — «Мама!

Я есть не буду, ужинала в самолете. А вот Руслана покорми, он очень голодный...».

Расселись мы на кухне за стол, собрала что-то Руслану (Линькову, Галиному помощнику, который ее встречал в аэропорту) и попивали чаек, и Галя рассказывала, как она передала Теме половичок, и как он его схватил, прижал к груди и сказал: «Не дам на пол стелить!». И накрыл им прикроватную тумбочку. А еще рассказывала, как они с Темой вели совместную передачу на радио «Эхо Москвы», как ему что-то стали подсказывать, а Тема сказал: «Не подсказывайте мне! Я сам скажу это в прямом эфире!». (У Платона есть запись этой радиопередачи.)

Выпила моя Галочка последнюю в жизни чашку чая со свежим творожком... Оставила нам с отцом баночку красной икры, копченого угря и лососевой икры в баночке из-под хрена (именно так записали следователи, когда я отвечала на их вопрос — она вам ничего не оставляла?) и сказала: «Это вам с папой на Новый, 1999 год. А то вдруг не сумею приехать...».

Мне потом странным казалось, что дары на Новый год она оставила 20 ноября, почти за полтора месяца до Нового года...

Машина стояла под окном у нас (исполкомовская), как всегда помахали рукой друг другу, расстались...

Позднее Руслан рассказывал, что когда ехали они мимо Никольского собора, Галя впервые увидела его подсветку и сказала: «Ой! Как красиво! Надо будет обязательно здесь побывать...».

Когда после ее гибели Оля пришла заказать панихиду в Никольский собор, ей там сказали: «Вы четвертая, кто заказывает панихиду по Галине Старовойтовой. Вы не беспокойтесь, мы всегда включаем ее в наши поминальные списки». Мы никогда не узнали, кто еще, кроме Оли, заказал

панихиду по Гале. Кто-то из незнакомых людей, скорбевших по ней вместе с нами...

Руслан говорил, что когда они вошли в Галин подъезд (оставив машину за воротами, на набережной канала), то увидели, что в подъезде на первом и втором этажах света не было, горел только на третьем и выше этажах. Позже выяснилось, что света не было во многих домах вокруг — даже в здании Итальянского консульства на Театральной площади. «Мы шли и разговаривали (рядом, но Галя чуть первая, ближе к перилам, а он — второй, ближе к стене), и вдруг раздался хлопок, как будто дети петардой хлопнули, и она на полуслове остановилась и начала как-то оседать... и упала... и в это время, когда была вспышка от выстрела, два силуэта стали видны — один вроде женский...». Руслан закричал: «Что вы делаете! Это же Галина Старовойтова!» Как показало потом следствие, у них не было в плане убивать Руслана, но раз возникает — на! Два выстрела — в шею и в голову... Врачи считают, что Руслан выжил только благодаря молодости и помощи, быстро оказанной врачом-судмедэкспертом, соседом Гали по лестничной площадке.

Когда мы проводили Галю — примерно в 22 ч. 30 мин., она еще была в наших глазах, голос ее еще звучал в доме, мы вспоминали ее разговоры, рассказы, и Вася вдруг стал ей звонить на канал Грибоедова. Были у него предчувствия? Обычно телепатия присуща мне, и даже довольно безошибочная... А тут я ему говорю: «Давай, ложимся спать, читаем еще...». Он говорит: «Да вот не отвечает...». — «Ну, не доехала еще...». Наконец, улеглись мы с Василием по своим кроватям, а все что-то не спится. И нельзя сказать, что была какая-то тревога, а вот не спится, и все тут. И вдруг, около часа ночи, звонит Алеша Прохвятилов: «Василий Степанович! Вы не слышали? Тут что-то по радио вроде про Галю говорили... Мы что-то не поняли...». Василий: «Про Галю?»

А что про нее говорить? Вот только что была у нас, посидели, поговорили, минут двадцать одиннадцатого уехали они с Русланом на машине к ней домой...». И мне говорит: «С ума сошел этот Алеша, звонит среди ночи... Разбудил меня...». А в шесть часов утра позвонила из Челябинска моя сестра Рита (у них это уже восемь часов утра): «Вася! Что-то у нас по радио про Галю говорили, вы там ничего не слышали?» Василий спрашивает меня: «В Челябинске сейчас сколько времени?» — «Восемь часов утра», — говорю. Василий набрал «02» — милицию: «Скажите, что случилось с Галиной Старовойтовой?» — «Мы таких справок не даем». — «Я отец. Куда мне обратиться?!» — «Сейчас вам позвонят...». Звонок через две минуты... «Она убита».

Я в голос зарыдала. Василий тоже заплакал. Молча.

Я стала звонить Оле. Отвечал автоответчик. Я сказала Оле примерно так: «Оленька, мужайся. С Галей случилось большое несчастье...».

Оказалось, что в Лондоне (как и во многих других городах мира) все радиостанции и теленовости всюду уже кричали об этом. Михаил позвонил Алеше Прохвятилову, а он аккуратно сообщил нам, а мы были возмущены его звонком ночным... В Челябинске и Кыштыме всюду уже кричало радио о Гале.

Боже мой! Боже мой!

После выстрелов, как-то придя в себя, Руслан позвонил в милицию, но там стали спрашивать что-то вроде: «Какой Старовойтов? А откуда вы знаете?». Потом он набрал телефон агентства «Интерфакс», и Ольга Крупенья с трудом узнала его голос, потом какое-то время пребывала в шоке, а потом уже стала звонить...

Руслан добрался до квартиры соседа-врача, позвонил в дверь, сказал о беде... Врач, Валерий Андреев, сразу все понял, почувствовал сильный запах пороха, посмотрел на

пол-этажа вниз, увидел, что Гале помочь уже нечем... Крикнул жене (она тоже врач), та быстро стала останавливать кровотечение Руслану. Валерий позвонил в милицию, в скорую помощь и Оле. Это было около 23 часов. Оле он сказал: «Ольга Васильевна! Срочно приезжайте, стреляли в Галину Васильевну...». Оля ничего не поняла: «Где?» — «У нас, на Грибоедова...» — «Как она себя чувствует?» — «Приезжайте! Только не говорите родителям...». Галя говорила ей, что приедет на выходные, но что именно в этот день, Оля не знала. Схватила первую попавшуюся машину и через шесть-семь минут была на набережной. По дороге думала: это Руслан придумал очередную ерунду... и тут же — у нас разные группы крови...

У ворот стояли две машины «скорой помощи». Оля — к первой машине: «Здесь Старовойтова?» — «Нет, не ломайте дверь...». Ко второй: «Здесь Старовойтова?» — «Старовойтова умерла...». Оля побежала в подъезд. Около входа стоял молодой человек в камуфляжной форме, с автоматом. Но никто ее не задержал. Видимо, Олина аура сосредоточилась в таком луче, который не остановила бы вся милиция города...

Дорогие мои доченьки... Одна лежала бездыханная, а вторая взяла ее за руку... «Мама, — сказала она мне потом, — рука еще была теплая...». Рядом лежала Галя, дорожная сумка и маленькая ручная черная сумка, на пару ступенек выше — брошенный автомат, из которого беззвучно стреляли в нее... Почти непрерывно звонил мобильный телефон в Галиной сумке...

Милиция, ФСБ и прокуратура вели свои измерения, определяли траектории пуль по знакам на стене и т. д. Приводили служебную собаку, которая, деликатно обойдя Галю, понюхала автомат и побежала во двор, где нашла второе оружие — пистолет. Оля всю ночь думала (всерьез!), как

сделать, чтобы скрыть этот ужас от родителей. В то же время прекрасно понимая, что это невозможно. Однако в голове вертелись планы, как выйти на Ельцина и с его помощью запретить сообщать эту новость...

Когда в четвертом часу ночи стали делать медицинскую экспертизу, первичную, прямо на месте, Олю попросили отойти. Привели в ОМОН, дали там коньяку, разрешили позвонить. Она позвонила в Москву, и Люда ей сказала, что все уже знают, весь мир об этом говорит...

Когда Оля вернулась на лестницу, Галя уже была прикрыта простыней... Но ее все не увозили почему-то...

Квартиру опечатали, и какое-то время Оля могла туда входить только со следователями.

Молча шли жители подъезда и соседних домов, ужасаясь увиденному. Впрочем, вскоре подходы к дому были перекрыты. Вокруг оцепления стояло очень много людей, кто-то успел положить цветы. А утром, когда Галя уже увезли в морг, под ее окнами и у арки стоял народ, была гора цветов и зажженные свечи. Молчание и слезы. В углу у ступеней кто-то пристроил иконку. У входа в подъезд, во дворе, тоже свечи и цветы. Все это потом не раз показывали по телевизору и на снимках в газетах...

Ко мне пришли соседи и молча встали у дверей.

С первым возможным самолетом в субботу (21 ноября) из Лондона прилетели Платоша и Миша. Прилетели из Москвы Сережа с Катей, Мила с Леной и Люда (и позже Альберт). Потом из Иваново приехал Яша Потапов.

А утром Оля ехала к нам и думала, что она везет эту весть родителям... Вскоре приехала Эмма. После этого приехал С.В. Степашин и вице-губернатор В. Коцюба, начальник Красносельского райотдела милиции В. Ходюк. Сергей Степашин сказал, что ему позвонили ночью про это небывалое ЧП, что даны распоряжения о перекрытии всех выходов,

выездов и вылетов из города и т. д. Была туг же организована операция (то ли «Перехват», то ли «Ураган», то ли еще какое-то название), и в ходе операции, как позднее сообщали, было задержано много лиц, находящихся ранее в розыске, но не имеющих отношения к этому преступлению.

Степашин сказал, что у них принято никогда не беспокоить президента ночью, но об этом ему, конечно, сразу сообщили. Ельцин приказал Степашину взять дело под личный контроль и немедленно лететь в Петербург, специальным самолетом.

На столе у нас стоял Галин портрет и рюмка коньяка, прикрытая кусочком хлеба... Им я тоже предложила коньяка и по кусочку сыра. А коньяк — из бутылки «Галина Старовойтова», присланной ей из Еревана еще на 50-летие. Помянули. Спросили: «Чем вам помочь?» Наша просьба была такой: мы на последней финишной прямой. Нам недолго осталось на этом свете... А мы хотели бы быть похоронены в Горелово, где покоится много наших товарищей... А потому мы хотели бы, чтобы Галя была похоронена в Горелово, а потом уж мы подляжем к ней... Кладбище же в Горелово уже закрыто... Они переглянулись и сказали: «Ну, это-то мы, наверное, можем. А что еще, какая нужна помощь?». Василий сказал: «Вот, наш внук, Сережа, потерял паспорт». — «Конечно, поможем».

Сергей Степашин потом отвел Олю в сторонку, всплакнул и сказал: «Какие у тебя родители! Я ожидал всего: упреков, истерики, ненависти, криков, и все это было бы справедливо... Береги их».

На другой день в Горелово, в центре кладбища, выделили большую площадку, вырыли могилу для Гали, повезли Василия посмотреть. Он все одобрил и сообщил, что согласен. Вечером Степашин на одной из пресс-конференций по всем этим делам сказал, что похороны состоятся во вторник,

24 ноября, на сельском кладбище в Горелово... Вот тут начались возмущенные звонки в Смольный, в Законодательное собрание, в депутатские приемные, в том числе и в приемную Галины. Люди возмущались и требовали — либо Александро-Невскую Лавру, либо Литераторские мостки. Нам же это вовсе и в голову не приходило. Власти быстро решили этот вопрос. Стали готовить могилу на Никольском кладбище Александро-Невской лавры...

Оля договорилась об отпевании Гали в часовне на Никольском кладбище, чтобы там были только близкие.

Домой к нам и к Оле пошел непрерывный поток соболезнований — звонков, телеграмм. Приходили представители многих иностранных консульств с соболезнованиями и траурными букетами.

Мрачная музыка по телевизору... Сообщения государственной комиссии по похоронам — объявлено, что гражданская панихида будет в Мраморном зале Этнографического музея, похороны на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, называли время...

Прощание с Галей проходило в Музее этнографии, около площади Искусств, с десяти часов утра, и было рассчитано примерно на три часа. Но люди все шли и шли, отстояв на морозе по два-три часа. Похоронная комиссия пыталась прервать прощание, обращались к Оле — получили решительный отказ, обращались к Василию, что, мол, вам, наверное, плохо, и скоро стемнеет, хоронить придется при свете прожекторов... Он сказал: «Хуже мне от этого не будет. Люди ждут — и мы будем ждать сколько угодно». Оля выходила и смотрела, много ли еще людей хотят войти и попрощаться. Была запружена вся площадь Искусств до Спаса-на-Крови, а может дальше, конца очереди видно не было, очередь разветвлялась на несколько «хвостов»... Милиция пыталась считать и сказала Михаилу, что не меньше

тридцати тысяч человек прошли через музей. Множество народа было и в Александро-Невской лавре. Накануне на заседании государственной комиссии по похоронам обсуждались все процедурные вопросы, и в том числе звучало предложение провезти Галю по Обводному каналу, но Оля, Миша, Платон и Люда проявили твердость, и было решено перекрыть Невский проспект. Гроб Гали был установлен в катафалке, в котором везли останки царской семьи. Во время прощания к Оле подошел кто-то из комиссии по похоронам и сказал: «Духовенство готовит для отпевания собор. Вы не против?». Конечно, не против...

Когда гроб был вынесен из зала, на улице вокруг стояло еще множество людей, которые все же не успели войти в помещение. Улица была усыпана цветами. Когда наш траурный кортеж двигался по Невскому проспекту, по обе стороны стояли люди. Многие кланялись и крестились, бросали цветы. Мы ехали как бы по людскому коридору. У входа в Александро-Невскую лавру толпилось множество людей. Тысячи людей ждали возле вырытой могилы. Битком набит народом был кафедральный собор, где проходило отпевание... Не только пройти или ногу поставить, там макову зерну негде было пасть. Вышел к людям батюшка и сказал: «Дайте родителям пройти...» Люди как-то ужались, наверное, выдохнули разом, и дали нам дорожку, величиной с ладонь... Батюшка повел нас к гробу через алтарь, что, конечно, совсем не положено, но иначе было не пройти. У гроба стояли и Миша, и Платон, и Оля, и, конечно, был там Вася. Но я его не видела, не помню... Был там и А.Ф. Волков. Я его у гроба видела, он стоял у головы. А я взяла свою доченьку за ее холодные руки и все не верила глазам своим — как нечто нереальное, нездешнее, невозможное...

23 ноября нам сообщили, что 24-го в семь часов утра к нам приедет машина, чтобы отвезти нас в морг попрощаться

с Галей... Впереди ехала машина ГАИ с мигалкой, потом машина с нами, потом — это я узнала много позже — машина «скорой помощи». Нигде не помню своего Васю — ни в машине, ни в морге, ни в соборе, ни у могилы. Нигде не помню Олю, Люду. Хорошо помню Олю только в зале прощания.

В морге нас уже ждали Миша и Платоша. Но Платошу в морге тоже не помню. А Миша взял меня за руки и просил, провожая к гробу: «Ты только не бросайся там на нее, а то ведь ей сделали макияж, нельзя размазать...». Тихо я подошла к гробу... Лежит моя доченька... Хорошо вижу замазанный, заклеенный, обработанный правый висок, рыжий клочок волос, тихая, смиренная — моя и не моя, моя и отчужденная, не верю, не верю... Никого возле нее не помню... Висок замазан грубо, мне видно все неровности... На выходе кричу: «Сволочи! Сволочи!». Миша говорит: «Тихо, тихо...».

Едем в зал прощания. Не помню, с кем... В зале прощания уже стоит Галин открытый гроб... Не понимаю, как он там оказался раньше нас... В зале полно народу. Много депутатов, политиков, четыре бывших премьер-министра, лидеры партий...

Идет панихида. Она шла долго, часов пять... Но воспоминания обрывочные. Вознесенский читает свои стихи. У гроба сменяются люди — почетный караул. Черномырдин с полными слез глазами... Подошел к Василию, сжал ему плечо. Басилашвили с кем-то внес в зал гирлянду, уложил возле гроба... К открытию зала явился Волков (в морге не был). Подошел к гробу, что-то бормотал как бы Гале...

В зале несметное количество венков, не помню, от кого. Конечно, от президента, от партий, от посольств, от консульств, от самых разных организаций и от частных лиц... Пришел автобус от ВНИИТрансмаш с большой делегацией во главе с директором — проститься с нашей Галей и вы-

разить нам сочувствие. Многие, особенно женщины, прощаясь с Галей, низко кланялись ей, поворачивались к нам и кланялись в пояс и крестились... Все это пронеслось как нечто нереальное...

Могила, поминки... Следователи... Протоколы... Версии... Досмотр (чтобы не сказать «обыск»). Потом опять — могила... Всегда народ... Всегда цветы... Всегда горькие соболезнования местных и множества приезжих — с полуострова Ямал, из Рязани, из Воронежа. Учительница с учениками (Петербург), экскурсии по городу с заездом на могилу и с обстоятельным рассказом о случившемся, о жизни и смерти Галины, о ее депутатской деятельности, о демократии и о будущем России... Потом еще венки на могиле — от Ростроповича и Вишневецкой, от Ландсбергиса, от Прунскене...

Римма Яковлевна Старовойтова

Воспоминания.

Записи конца 2002 – начала 2003 года

Автор идеи: *А.Е. Попов*

Корректор *А.И. Третьякова*

Верстка *В.Б. Феркель*

Сдано в набор 11.02.09 г. Подписано в печать 4.03.09 г.

Гарнитура Петербург. Бумага офсетная.

Формат 84×108/32. Объем 7,14 усл.-печ. л.

Заказ № 17.

Тираж 500 экз.

Издательство «Цицеро»

454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.

Отпечатано в типографии

ООО «Тираж Сервис»

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 179.